

10.335 /
1973 / 2



Литературная

ЖУРНАЛ

6

1973



Литературная ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

6

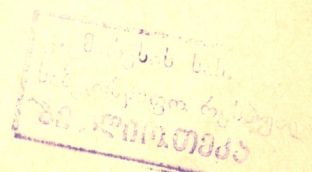
ОРГАН
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ГРУЗИИ

ИЮНЬ

1973

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

819.26



ქართველთა ლიტერატურულ-მხატვრული
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

წელიწადი მე-17

№ 6

თბილისი, 1973 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო

Главный редактор

Год издания семнадцатый

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Григол АБАШИДZE,

Тенгиз БУАЧИДZE,

Марк ЗЛАТКИН,

Лавросий КАЛАНДАДZE,

Натела КАРАШВИЛИ,

Серго КЛДИАШВИЛИ,

Георгий МАЗУРИН

(заместитель главного редактора),

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,

Владимир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,

Георгий ХУЦИШВИЛИ,

Эммануил ФЕЙГИН,

Алеко ШЕНГЕЛИА.

*Рукописи объемом
менее авторского листа
не возвращаются.*

Адрес редакции: Тбилиси, 8. Улица Ленина, 5. Телефоны: гл редактор — 93-65-15,
зам. гл. редактора — 93-13-57, ответ. секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59,
отдел прозы и очерка — 93-31-43, отдел поэзии и искусства — 93-31-43, отдел
критики и публицистики — 93-65-19.

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки заключили между собой соглашение, направленное на то, чтобы не допустить возникновения ядерной войны между ними и сделать все от них зависящее, чтобы предотвратить возникновение ядерной войны вообще. Не ясно ли, какое громадное значение имеет это для мира и спокойствия народов обеих наших стран, для улучшения перспектив мирной жизни всего человечества?

Народы Советского Союза высоко ценят мир и горячо одобряют миролюбивую политику нашей партии и государства.

(Из выступления Л. И. Брежнева по американскому телевидению)

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------|---|
| НЕЗАБЫВАЕМАЯ МИССИЯ МИРА | 6 |
|------------------------------------|---|

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|----|
| ДМИТРИЙ ГУЛИА. Человек. Москва. Наш Кавказ. Великий Тарас. В скалах, как жилище птицы... Счастлив тот, кто может все сказать... Никто из нас в судьбе земной... Перевод с абхазского Станислава Куняева | 11 |
| ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. Дмитрию Гулиа. Дмитрию Гулиа — переводчику «Витязя в тигровой шкуре». Перевод Георгия Маргвелашвили | 13 |
| ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Погода: ветра в долине Риони. Перевод Юрия Ряшенцева | 14 |
| ИОСИФ НОНЕШВИЛИ. Через времени меридианы. Перевод Михаила Синельникова | 30 |
| МАИЯ ЛУГОВСКАЯ. В доме Симона. Не обростешь, пожалуй, жиром... Я ловлю крутящиеся листья... | 14 |
| ЮРИЙ ОКУНЕВ. Мариджан | 15 |

ПРОЗА

| | |
|--|----|
| ОТАР ЧИДЖАВАДЗЕ. Самоубийцы. Роман. Продолжение | 16 |
| АЛЕКСЕЙ ГОГУА. Если можешь, иди вперед! Рассказ. Перевод с абхазского Елены Чайка и Николая Микава | 22 |
| РАМАЗ КОБИДЗЕ. Натиа. Рассказ. Авторизованный перевод Зураба Ахвледиани | 31 |

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

| | |
|---|----|
| АЛЕКСАНДР КУТАТЕЛИ. Доброе перо | 34 |
| ТУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Преодоленная высота. Окончание | 36 |

ИСКУССТВО

| | |
|--|----|
| ВАХТАНГ КУПРАВА. Роль самодеятельного искусства в современных условиях | 47 |
|--|----|

ЛУЧШЕМУ ПОЭТУ ЭПОХИ



Беседа с председателем республиканского юбилейного комитета, секретарем ЦК КП Грузии В. М. Сирадзе 49

70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СИМОНА ЧИКОВАНИ

- СИМОН ЧИКОВАНИ. Зедазени. Голос твой Кура заглушит на миг... Перевод Николая Тихонова 52
- ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Негасимое пламя высокой поэзии 53
- НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. Певец радостного мира 54
- СЕРГО КЛДИАШВИЛИ. В последние годы 55
- ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ. Светлой памяти поэта-друга 56
- ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. Опережая жизнь 58

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭСТЕТИКИ

- ГРИГОРИЙ ХАВТАСИ. О восстановлении целостности мира в поэзии 62

ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- РИПСИМЕ ПОГОСЯН. «Пируз» 73
- АБДУЛЛА ШАИК. Страницы прошлого 79

СОКРОВИЩНИЦА ГРУЗИНСКОГО НАРОДА

- АЛЕКСАНДР ГАМКРЕЛИДЗЕ. Хранилище древнейших рукописей 85

В МИРЕ КНИГ

- ДМИТРИЙ ТУХАРЕЛИ. О Горьком — друге грузинской литературы 95

НЕЗАБЫВАЕМАЯ МИССИЯ МИРА

Невозможно назвать другое явление в практике межгосударственных отношений текущего десятилетия, результаты которого для дальнейших судеб всеобщего мира были бы столь же плодотворны и животворящи, как официальный визит в Соединенные Штаты Америки Генерального секретаря ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.

Время идет, а лавина откликов на это взволновавшее всех событие ширится и нарастает. Сталевары и министры, шахтеры и ученые мужи, хлеборобы и бизнесмены, литераторы и воины, чаеводы и газетные обозреватели высказывают об этой встрече на высшем уровне свои сокровенные думы, всесторонне осмысливая подлинно масштабное значение происшедшего, анализируя важнейшие документы, подписанные в ходе визита, делают попытку заглянуть в открывающуюся перспективу, стремятся постичь, какое воздействие на развитие мировых процессов уже в ближайшее время окажут незабываемые встречи двух лидеров в Вашингтоне, Кэмп-Дэвиде и Сан-Клементе.

Что и говорить: советско-американский диалог, и прежде всего Соглашение между Советским Союзом и США о предотвращении ядерной войны, ставшее поворотной исторической вехой двусторонних взаимоотношений величайших держав земли, отныне запечатлены не только в анналах мировой истории. Они — в сердцах простых людей на всех континентах.

Светлым лучом надежды на долгий и прочный мир вошло это Соглашение в думы людские, материализуясь в конкретные дела, в созидательные свершения всех, кому дорог мир, кто отдаст свой труд счастьем и славе Человека, счастьем и славе человечества. Ведь каждому живущему на нашей прекрасной «Планете людей» яснее ясно: от климата, господствующего во взаимоотношениях между СССР и США, в преобладающей степени зависит общая международная атмосфера в мире.

Выступая по американскому телевидению, Леонид Ильич Брежнев особо подчеркнул мысль, что такая светлая надежда полностью оправдана. Совместное советско-американское коммунико-впечатляющее отразило поистине необозримую и весьма конструктивную работу, проделанную высокими договаривающимися сторонами за столь краткий срок. Причем выполнена она с подлинным динамизмом и размахом, в атмосфере, ставшей символом и прообразом новых взаимоотношений двух великих народов. Эта работа не только гражданам СССР и США, но и всему человечеству принесла добрые плоды.

Отныне к шести первостепенным советско-американским соглашениям, подписанным в мае прошлого года в Большом Кремлевском дворце, прибавилось еще девять важнейших документов. Все вместе они составили внушительный свод актов, прокламирующих сотрудничество СССР и США в самых различных областях межгосударственной дел-

тельности. Большой, славный итог! Подлинная надежда и радость для всех честных людей мира!

Да, на наших глазах произошел крутой и решительный поворот от конфронтации к взаимопониманию и сотрудничеству между двумя державами, отношения которых долгие годы были омрачены и осложнены недоброй памяти «холодной войной», обоюдоострой напряженностью. Но позитивный сдвиг от противостояния к тесному сотрудничеству произошел, разумеется, не вдруг, не по мановению некоей «волшебной палочки». Он зарождался в течение длительного периода, ярко проецируясь на общем фоне положительных явлений международной жизни, формировавшихся под мощным воздействием благородной внешней политики СССР и стран социалистического содружества.

«В улучшении советско-американских отношений, — сказал Л. И. Брежнев, выступая по американскому телевидению, — мы видим не изолированное явление, а органическую, причем весьма важную, часть широкого процесса коренного оздоровления международной атмосферы. Человечество выросло из жесткой кольчуги «холодной войны», в которую его пытались заковать. Оно хочет дышать вольно и свободно.»

Итак, по безошибочным характеристикам мировой прессы, двустороннее соглашение о предотвращении ядерной войны стало «апогеем», «высшим достижением», «кульминационным пунктом» этой незабываемой встречи в верхах, документом, выходящим далеко за рамки узких интересов двух великих держав. Решимость СССР и США — этих крупнейших государств современного мироустройства — ни в коем случае не допустить возникновения смертоносной атомной войны, грозящей существованию человеческой цивилизации, стремление сделать все от них зависящее, чтобы предотвратить термоядерный кошмар, — имеет для судеб человечества громадное, всемирно-историческое значение. И грядущие поколения из века в век будут с благодарностью называть наше социалистическое Отечество — первое государство, возвысившее голос против атомного апокалипсиса.

В ходе деловых контактов товарища Л. И. Брежнева и Президента Никсона должное внимание было уделено и проблемам ограничения стратегических наступательных вооружений. Этот важнейший вопрос также нашел на переговорах свое дальнейшее развитие. В итоге многовековая людская мечта о мире обрела под собой вполне реалистическую основу, осязаемые контуры. Это ли не яркая примета близящегося полного торжества здравого смысла, за которое всегда так ратовали наше социалистическое государство, наша Коммунистическая партия!

Участники советско-американского диалога на высшем уровне, убежденные в том, что развитие отношений между СССР и США на основе принципов мирного сосуществования служит интересам как их двух народов, так и всего человечества, решили предпринять в дальнейшем новые крупные шаги с тем, чтобы придать своим взаимоотношениям максимальную стабильность и подлинно долговременный характер, превратив дружбу и сотрудничество между советским и американским народами в постоянный и действенный фактор международного мира.

Развитие взаимовыгодных экономико-торговых отношений, настоятельно диктуемых соображениями реализма, упрочение и совершенствование мирных дружественных контактов СССР и США вызывают к жизни устойчивые крупномасштабные связи наших стран в ряде отраслей экономики, а также научно-техническое сотрудничество, рассчитанное на долгие годы (скажем, реализацию таких конкретных проектов, как поставки сибирского природного газа в США, доведение общего

объема торговли за следующие три года до 2—3 миллиардов долларов и т. д.). Сложение экономического и интеллектуального потенциала обеих стран должно явиться радующей предпосылкой в совместном изучении и освоении космоса, а также Мирового океана, в развитии интенсификации сельского хозяйства, в борьбе с тяжелыми недугами, пока еще считающимися неизлечимыми...

Итак, ставшее реальным и соизидательным инструментом международного мира оздоровление взаимоотношений СССР и США превратилось сегодня в конкретный факт жизни. Эти отношения, торжественно зафиксированные в документе, подписанном 29 мая 1972 года, — в «Основах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки», — базируются на принципах мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Провозглашенные великим Лениным в качестве основы всей внешней политики Советского государства, эти принципы получили ныне широчайшее международное признание, стали неопровержимой формулой межгосударственных отношений.

Принятая XXIV съездом КПСС волнующая Программа мира явила собой зримое воплощение политики мирного сосуществования в современных условиях. Активное содействие разрядке напряженности, обеспечение для многих поколений подлинно прочного мира на земле — вот конкретные цели этой программы, выражающей убеждения и намерения не только Советского государства и его верных союзников и единомышленников по социалистическому содружеству, всех сынов и дочерей этих стран, но также чаяния всего прогрессивного миролюбивого человечества. Разумеется, мирное сосуществование ни в малейшей мере не означает изменения наших позиций в области идеологической борьбы с враждебными коммунизму концепциями. В этой области мы и впредь будем давать бой любым вылазкам наших идеологических недругов.

Пекинским и всяким иным поставщикам пропагандистской отравы, которые тщатся сегодня обогатить и принизить результаты советско-американского диалога набившими оскомину разглагольствованиями о мнимом «сговоре сверхдержав», не обмануть народы мира. Справедливо высказался о переговорах СССР — США первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков: «Радостно сознавать, что это означает торжество неизменных принципов внешней политики Советского государства, сформулированных его великим основателем — Лениным!».

Эти слова являются лаконичным выражением реакции всех советских людей на результат исторических переговоров, нашей законной гордости за свое социалистическое Отечество, за партию коммунистов, настойчиво и последовательно проводящую в жизнь ленинские принципы мирного сосуществования.

Все мы отдаем должное личному вкладу товарища Леонида Ильича Брежнева в это поистине огромной важности дело. Мудро, принципиально, с глубочайшим проникновением в самую суть сложных проблем современного международного положения ведет он возложенное на него партией дело разрядки напряженности. Исторический визит в США, а также знаменательные встречи Л. И. Брежнева с Президентом Французской Республики — убедительное доказательство непрекращающейся, неодолимо нарастающей борьбы СССР за мир во всем мире, впечатляющее свидетельство того, как последовательно и неуклонно ленинская партия воплощает в действительность выдвинутую XXIV съездом КПСС Программу мира.

Наше мирное наступление продолжается. Оно неостановимо, как сама жизнь!

ПУСТЬ ВСЕГДА БЕЗОБЛАЧНЫМ БУДЕТ НЕБО!

Я уверен, что не было на всей земле человека, который не следил бы за тем, как проходили переговоры между Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Леонидом Ильичом Брежневым и Президентом Соединенных Штатов Америки Ричардом Никсоном.

Завершены исторические переговоры. Люди на всей планете Земля облегченно вздохнули и с надеждой обратили свой взор в светлое и мирное будущее. Так пусть же всегда будет безоблачным небо, пусть всюду воцарится мир!

Серго КЛДИАШВИЛИ,
писатель

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ

Ничто так не волнует современного человека, как мысль о будущем, о его перспективах. С созданием ядерного оружия стали бессмысленными захватнические войны — ведь после атомной войны нечего будет захватывать. Люди это знают, как и то, что главное — обеспечить мир, предотвратить атомную мировую войну.

Вот почему все цивилизованные народы поддержали конструктивную внешнюю политику XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза. Вот почему визит Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты Америки, его беседы с Президентом Ричардом Никсоном имели позитивные результаты для обеспечения мира между всеми народами.

Соглашения, подписанные Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, основы которым были заложены год назад в Москве и которые столь блестяще завершены в Белом доме в Вашингтоне, имеют огромное историческое значение.

Люди повсюду свободно и радостно вздохнули, поскольку хорошо знают: если два столь великих государства, как Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, решили предотвратить атомную войну, за мир на земле можно быть спокойным.

Атомная война должна быть предотвращена, спорные вопросы должны быть разрешены не войной, а мирными переговорами за «круглым столом». Эффективные возможности таких переговоров уже найдены. Необходимо приступить к их практическому использованию.

Июньские переговоры Леонида Ильича Брежнева и Ричарда Никсона — великий исторический акт, и потому весь мир так восторженно приветствовал соглашения, к которым пришли два современных государства; ведь они направлены на защиту миллионов жизней, на защиту народов нашей прекраснейшей планеты.

Георгий ДЖИБЛАДЗЕ,
министр высшего и среднего специального образования Грузинской ССР,
действительный член Академии наук Грузинской ССР.



Нам, труженикам села, дорога Программа мира, выработанная XXIV съездом Коммунистической партии Советского Союза. Наша партия и Советское правительство неустанно заботятся об осуществлении программы съезда. Еще одно яркое подтверждение тому — визит Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты Америки.

Мы, чаеводы, приложим все силы к тому, чтоб помочь партии и правительству в осуществлении великих задач.

Т. КУПУНИЯ,
дважды Герой Социалистического Труда,
чаевод, бригадир ахалсепельского колхоза Зугдидского района.

ПОБЕДА НАШЕЙ МИРНОЙ ПОЛИТИКИ

В эти дни все миролюбивые люди с большим вниманием следили за визитом Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты Америки и Францию. Миссия мира, имеющая огромное историческое значение, успешно завершена. Подписан договор, столь необходимый для нашей планеты; он предусматривает углубление духовного, культурного и делового контактов, взаимопонимание и сближение между народами. Все это — огромная победа мирной политики нашей партии, и в будущем она, безусловно, даст самые добрые плоды.

Мы, художники, приветствуем замечательные результаты нашей мирной политики, вдохновляющие нас на новые творческие успехи.

Уча ДЖАПАРИДЗЕ,
народный художник СССР, академик,
депутат Верховного Совета Грузинской ССР.

ВЕРИМ — ДЕЛО МИРА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ

Принципиальная мирная политика Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза с каждым днем становится целеустремленнее и тверже. Нормализация отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, соглашения, подписанные во время визита Леонида Ильича Брежнева в Америку, безусловно, окажут плодотворное влияние на жизнь всех народов, утверждают мир во всем мире.

Наш коллектив марганцевого рудника вместе со всем советским народом приветствует каждый новый шаг нашей партии и правительства на пути нормализации взаимоотношений с другими странами. Мы верим — дело мира победит!

Г. ДВАЛИ,
крепильщик Чиатурского марганцевого треста имени Димитрова, депутат Верховного Совета Грузинской ССР.



В феврале будущего года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского писателя, основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Творчество Д. Гулиа, глубоко и полно отразившее духовное величие советского народа, получило всеобщее признание. Для организации юбилея народного поэта Абхазии создан правительственный юбилейный комитет под председательством секретаря ЦК КП Грузии В. Сирадзе. В состав юбилейного комитета вошли: Г. Абашидзе (заместитель председателя), И. Абашидзе, Д. Антадзе, В. Анджапаридзе, А. Баланчивадзе, Г. Бединешвили, Д. Гогохия, Э. Гугушвили, С. Дolidze, Н. Думбадзе, О. Тактакишвили, И. Тарба, К. Қаладзе, Э. Магарадзе, Р. Маргиани, М. Мачавариани, Д. Мchedlishvili, И. Нонешвили, В. Жгенти, Ш. Саларидзе, И. Кецаба, Ш. Каркарашвили, Б. Шинкуба, Дж. Чарквиани, А. Чикобава, Г. Цицишвили, Т. Чиладзе, У. Джапаридзе.

«Литературная Грузия» по возможности полно ознакомит своих читателей с творчеством Дмитрия Гулиа. В этом номере журнала мы предлагаем подборку стихотворений поэта в переводе Станислава Куняева.

Дмитрий ГУЛИА

ЧЕЛОВЕК

Будь ты юноша или старик,
ты, читающий этот стих,
я прошу тебя об одном:
если ты наделен умом
или богатством — помни вовек:
кто б ты ни был — ты человек,

Будь хоть князем — даже царем.
Не замкнись в величье своем,
чтут тебя — печись обо всех...
Кто б ты ни был — ты человек.

Коль судьба обманет тебя
или, скажем, вдруг, разлюбя,
кто-то близкий тебя отверг —
твердо помни: ты — человек.

К людям зла в душе не храни;
духом робкого — не оттолкни,
пусть смелей глядит из-под век —
помни, что и он человек!

1910

МОСКВА

Славлю стены твои и мосты
и скрещенья дорог на заставах.
Богатырскою поступью ты
шла из глубы времен величавых.

Исполинские башни Кремля,
словно вечные сторожевые,
смотрят в небо, надежно храня
всенародную славу России.

Я услышу — на времени зов
отзовется Царь-колокол звоном...
Ты, Москва, словно мать городов!
Я пришел к тебе с низким поклоном,

Чтоб огромного неба заря
алым краем меня осенила

у Данилова монастыря,
где одна затаилась могила...

Средь крестов, усыпальниц и плит,
среди божественного захолустья
здесь на мраморе надпись горит:
«Горьким смехом моим посмеюся».

Не тускнеют на камне слова.
Монумент у Москвы на ладони.
Разошлась по России молва...
Ты столица. Ты — мать Москва.
Пред тобой я склоняюсь в поклоне.

1907

НАШ КАВКАЗ

Ты, покрытый снегами, как
 символом славы,
мы гордимся тобою — твои сыновья.
Словно воины в шлемах
 вздымаются главы
белоснежных вершин над чертой бытия.

Ты, вскормивший столь сильных
 и телом и духом,
Абраскила-героя и братьев его,
передал их могущество детям и внукам
и продолжил в праправнуках их естество.

Сколько всяких врагов на тебя посягали,
сколько раз закипали в ущельях бои!
Но у враг твоих воины насмерть стояли,
вражья кровь омывала вершины твои.

А не их ли потомки клянутся отчизне
в эти грозные ночи и черные дни,

состязаясь с прапрадедами в героизме,
оградят твои снежные пики они,
Так сомнемся рядами, питомцы Кавказа
поклоняемся стране, что врага разобьем,
пусть он чует пришествие смертного часа,
чтобы в мире развеялась память о нем!

1942

ВЕЛИКИЙ ТАРАС

На плодородной родной Украине,
в знойной степи, в Прикаспийской
пустыне,
где бы ты ни был — ночью и днем
думал ты думу всю жизнь об одном.
Перед тетрадью иль перед мольбертом,
в круге друзей, в одиночестве смертном
или далеким этапом гоним —
всюду ты жил вдохновеньем одним.
Мучился. Страждал. Глядел непокорно.
Но к светлой цели стремился упорно.
Не угасал в тебе дух огневой,
как загоревшийся дуб вековой.
Муки свои ты делил с земляками,
спины согнувшими под батогами,
об Украине свободной мечтал
и от мечты своей не отступал...

Глянь! Украина твоя, расцветая,
песни поет, — и от края до края
имя твое произносит народ,
розы на мрамор надгробья кладет.
Нынче — ты гордость родной Украины.
Время велело, чтоб стали едины
две ипостаси — народ и поэт
в грохоте строек, в шуме побед.
Глянь на страну с берегов
Приднепровья —
имя твое произносят с любовью:
— Нет, ты не умер, великий Тарас!
Ты вместе с нами. Ты среди нас!
В горной Абхазии вещие строки
дети читают, как жизни уроки.
Слово твое переводят, любя,
и наизусть произносят тебя!

1939

* * *

В скалах, как жилище птицы,
наша станция таятся.
Ветер мечется вокруг,
свищет, словно горный дух.

Мы сходились на открытье,
как на пир, как на событие.
У кого рука легка? —
Пала честь на старика.

Раньше он колол лучину,
а теперь нажал рукой
кнопку — и залил долину
светом, борющимся с тьмой.

Раньше были ночи долги.
Снег валился. Выли волки.
А теперь турбины в ряд
мерным рокотом гудят.

Люди со вермен Сасырквы
слали господу молитвы,
Чтоб при свете и в тепле
Жить счастливо на земле.

Как два брата — свет и счастье.
Скройся мрак и глнь ненастье,
свету вознесем хвалу!
Горы дремлют величаво,
только ночь лишилась права
погружать село во мглу!

1949

* * *

Счастлив тот, кто может все сказать,
что за годы на душе скопилось,
кто умеет в жизни увязать
мудрость, осуждение и милость.

Кто за правду ратует всегда,
невзирая на чины и звания,
чья к несправедливости вражда
выскакает из сердец признанья.

Счастлив почитаемый людьми,
приобретший добрую известность
не за силу, а за свет любви,
за отвагу и за человечность.

Счастлив тот, кто молодости дар
не растратил кое-как, впустую,
кто в других будил чудесный жар,
говоря: я истину взыскую!

Кто достойным в молодости был,
но еще достойней стал под старость,
кто не только близких возлюбил —
но любовь для мира в ком осталась.

Счастлив чтивший и отца и мать
к мудрецам ходивший за советом,
истину умевший указать
всем заблудшим, кто нуждался в этом!

1910



* * *

Никто из нас в судьбе земной,
и даже тот, кто жизнь итожит,
сказать, что все довольны мной,
увы, никто сказать не может.

Иной, чтоб рассмешить народ,
старается не без успеха,
но кто-то плюнет и пройдет,
кому сегодня не до смеха.

Один самодоволен весь,
но презираем, как Иуда,
другой меняет честь на спесь,
и это по душе кому-то.

Все, что так горько для одних,
то для кого-то слаще дыни,
а то, что сладко для иных,
то для других горчей полыни.

Кого-то избежать хотят
за то, что скажет, как отрубит.
Другие на него глядят
и эту прямоту в нем любят.

Кто плачет из-за пустяков,
тот от намека рассмеется...
Твой близкий от никчемных слов,
вдруг огорчась, в себе замкнется.

1910

Галактион ТАБИДЗЕ

ДМИТРИЮ ГУЛИА

Благородный союз
Вдохновенья и буйства,
Пред тобою склонюсь —
Ясный светоч искусства!

Ты единственным счел
Для себя, по натуре,
Путь, которым прошел
Витязь в тигровой шкуре.

Возлюбив свой народ,
И не в пику собрату,
Ты постиг наперед
Его боль и отраду.

Обожая, любя,
Обойдешь ты полмира,
И абхазская лира
Обессмертит тебя.

1940

ДМИТРИЮ ГУЛИА — ПЕРЕВОДЧИКУ
«ВИТЯЗЯ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»

Руставели — добра венец,
Круговая любви порука,
И Абхазия, где певец
Обретает навеки друга.

Этой встречею воплощен
Дух высокого ратоборства,
Душ взаимность и связь времен,
Подвиг воли и чудотворства.

1939

Перевод Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

ПОГОДА:

ветра в долине Риони

Алазанский иль евратский ветер,
 Твой ли вихрь, Аракс, или твой, Кура...
 О, таких,

таких на белом свете
 Нету — как рионские ветра.

Ветер зла, подобный длинной плети,
 Вихрь благословенья и добра —
 О, таких,

таких на белом свете
 Нету — как рионские ветра.

Ветры от Колхиды до Сванети,
 Вихрь Сулори — мертвого костра..
 О, таких,

таких на белом свете
 Нету — как рионские ветра.

Вечные, как порох и как пламя,
 Полные смятенья, мятежа!
 Нет конца ни страсти их, ни драме.
 Как болит, пропитана ветрами,
 Навсегда недужная душа!

Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА

Майя ЛУГОВСКАЯ

В ДОМЕ СИМОНА

Облачатся в веселый наряд
 Дымных гор оголенные склоны.
 Почему же грустней в этом мире?..
 Больше ласточки не прилетят,
 Не вернутся к себе на балконы —
 Воробьи захватили квартиры.

Отбивает мусорщик склянки.
 Площадь крутится, как колесо.
 Люди, транспорт, гудки и крики.
 Подметают дворы курдянки.

Не обростешь, пожалуй, жиром,
 Когда транзитным пассажиром
 Мотаешься по аэродромам
 И по предутренним перронам.

Дождь на асфальте — черным лаком,
 По суткам жди... Мой хлеб нелаком,
 Я за него всегда в ответе,
 За все, за всех на белом свете.

За тех, кто требует надбавки,
 Кто безмятежно спит на лавке,
 Кто оформляет свой багаж,
 Кто в доску свой и кто не наш.

Я ловлю крутящиеся листья,
 Легкие предвестники беды.
 Я рябин остывших глазу кисти —
 Влажные багряные следы.

Осень, осень приближение снега,
 Умирание трав, цветов и света.

И звонит телефон. — Элисо?.. —
 И мне чудится голос Марики.

Улететь бы скорее... Куда?
 Безысходна моя бескрылость.
 Облака, тяжелей, чем суда,
 Сгромоздились. И солнце скрылось.

Что-то мучает, что-то гнетет,
 Как невыплаканная обида.
 То ли кто-то придет, то ли парка прядет?..
 Как могила, гора Давида.

* * *

Кто, вывернутый наизнанку,
 Со мной сидит на полустанке.
 Кто мечется и кто спешит,
 Но от себя не уберит.

В такси захопываю дверцу.
 Включился счетчик. Точно сердце
 Трепещет, бьется на пути...
 За каждый километр плати.

Приветлив, весел и речист,
 Мне улыбается таксист,
 И сразу просто и легко,
 Жаль, ехать с ним недалеко —
 Мне расплатиться будет нечем,
 Хотя маршрут мой бесконечен.

* * *

Ожиданье белого разбега,
 Хрусткой пленки на уснувшей Лете.

Но в душе моей упрямо бьется
 Ниточка-надежда вечной жизни,
 Взрывом яблонь сердце разорвется,
 Диким пламенем тюльпанным брызнет.

Старейшей грузинской поэтессе Мариджан исполнилось 83 года. На протяжении более чем полувековой творческой деятельности Мариджан создала замечательные произведения, отмеченные высокой поэтической культурой.

Велик вклад Мариджан, внесенный в дело развития грузинской советской детской литературы. Она по праву считается одним из ее основоположников.

Много сил, знаний и любви отдала грузинская поэтесса воспитанию молодых поколений поэтов. Многие из них, ныне завоевавших признание, делали свои первые шаги на литературном поприще с ее благословения.

Ниже мы публикуем стихотворение, которое волгоградский поэт Юрий Окунев посвятил своему наставнику и другу — Мариджан.

Юрий ОКУНЕВ

МАРИДЖАН

Приехав в первый раз в Тбилиси,
Смушался и не возражал,
Когда к нежданам был причислен:
Не ведал я о Мариджан...

В каком бы ни бывал я доме,
Куда бы путь мой ни лежал —
Повсюду приговор: знакомить,
Вести немедля к Мариджан!

Прочтя стихи, я ждал ответа,
Но все вопрос опережал:
— Вы ей не прочитали это?
— Кому?

— Конечно, Мариджан!

И вот вконец обеспокоясь,
Я любопытства не сдержал:
— Да что же это за такое?
Да кто такая Мариджан?

И будто сразу подобрели
Мои тбилисские друзья...
В особняке на Мачабели
Был встречи удостоен я.

Пройдут закаты и восходы,
Но тех минут не отдалят.
Уходит все: события, годы,
Но остается женский взгляд.

В нем не было и тени даже
От вежливости женской той,
Что вас обманет не однажды,
Прикидываясь добротой.

Как слушала!..

Нет, не усердно —
Азартно!

Будто в этот миг,
Я для нее не просто смертный —
Загадка. Откровенье. Миф.

Не только лишь меня — любого
Она так слушает.

Когда
Мертворожденным видит слово —
Скорбит, сочувствует: беда...

И вдруг укор: — Ох, оплошал ты...
Глазами требует, как мать:
«Уж если в Грузию попал ты,
Так должен ты поэтом стать!»

Когда вторично я приехал,
Не шел с вокзала, а бежал.
И жаждал стих мой не успеха,
А трибунала Мариджан!

И вот теперь приезд мой третий,
Уже семнадцать лет спустя.
Ее среди бела дня я встретил
На площади.

Полушутя,
Спросила: — Кто я, угадайте?
И протянула мне ладонь —
Мол, ради бога, стих подайте...
— Читайте!..

А в глазах огонь
Немеркнущий.

Не увядая,
Грозится: «Окунев, смотри!»
Уже совсем, совсем седая...
Но что ей восемьдесят три?!

Твоим задором изумлен,
Что пред тобою годы — бренность!..
Грузинка пушкинских времен,
Как ты попала в современность?
Как?

...А вот так: без всяких вех
Грузинками из века в век
Передается эстафета:
Их ум, их женственность, их смех —
Во всех веках не для утех —
Для озарения поэта!

САМОУБИЙЦЫ

РОМАН

Керосиновая лампа сперва начала мигать, а потом и вовсе собралась потухнуть. Я приподнял фитиль, но теперь она начала коптить. Надо долить керосина, который здесь на вес золота, или потушить ее и лечь спать.

Заправив лампу в полной темноте, я снова зажег ее и словно впервые стал оглядывать залитую желтым светом комнату с пустыми ящиками вместо стола и стульев, а в углу спящих на соломе и прикрытых поверх одеял своими пальто ребят.

— Мама... мама... — жалобно во сне произнес Того.

Омар приподнял голову и посмотрел невидящими глазами на Того. «Мама», — со вздохом повторил он, а затем, закрыв глаза, уронил голову на солому.

Выражение лиц у обоих было такое детское и беспомощное, что они напомнили мне покинутых сукой щенят, и мне стало очень жаль их.

А может быть, мне жаль самого себя, ведь через некоторое время я тоже лягу рядом с ними на солому, накроюсь завшивевшим одеялом и так же, как они, отчаянно буду чесаться во сне.

Помню в «Так говорит Заратустра» мне больше всего понравилось то место, где сказано: самое большое оскорбление для человека — жалость, когда его жалуют. Выходит, самое большое оскорбление я наносу сам себе... Ну и что ж, теперь это уже не имеет значения, как не имеет значения для бросившегося под поезд самоубийцы, что колеса превращают его тело в кашу из переломанных костей, перерезанных сухожилий и рубленого мяса.

Перед побегом мне казалось, что я предвидел все — опасности, невероятные физические трудности и даже могущие оказаться трагическими случайности. Оказалось, что это далеко не все. Я не предвидел той грязи, на которую наткнулся здесь. Грязи крайне примитивной, идущей вместе с отсталостью из глубины веков и которая с приходом цивилизации, вероятно, становится только сложнее и рафинированнее.

Конечно, не по этой глухой деревушке мне судить о новом мире, в который я попал. Я еще ничего не видел, но по началу предвижу, что увидеть придется многое.

Надо же было, чтоб именно сегодня, когда нам объявили о завтрашнем отправлении в дальнейший путь, случилась эта мерзость.

А вообще за эти последние дни произошло много чего.

Сначала как будто все шло нормально и нас беспокоили только насекомые. Так как борьба с ними кустарным способом возможна была не повсюду, то я предложил ребятам побрить головы.

Ответ был краток и категоричен: «Нет, ни за что!».

Наступили холода, и ребята были бы правы, если не принимать во внимание беспрестанного ползания по черепу этих удивительно нахальных и кроважидных существ.

Осознав, что это все-таки не пчелы, а я не Цотне Даддани и что цель моего самопожертвования не останется в истории, я решил добиться своего.

Вечером, лежа на соломе, я стал рассказывать истории про знаменитых морских разбойников — корсаров, используя в основном Стивенсона и собственную фантазию.

Рассказывал я очень много и увлеченно, стараясь приноровиться к вкусу каждого из слушателей.

Для Степко это были даровые лиры Гаргантюа, для Того — несметные богатства — золото и драгоценные камни, а для Омара — поголовная резня экипажей взятых на абордаж кораблей.

Продолжение. Начало в № 5.

Закончил я тем, что у корсаров головы были повязаны красными платками, и вскользь добавил, что головы у них, конечно, были обриты.

Ребята просили меня рассказать еще, но я больше не проронил ни слова, притворившись, что заснул.

На следующее утро я пошел в лавку и купил бритву «два мальчика», о которой, кстати, мечтал давно, и два больших красных платка. Второй платок был для Степко, который всецело зависел от меня и не смог бы отказаться под страхом неминуемой голодной смерти.

Затем, тайно информировав Степко и не обращая внимания на то, какое трагическое выражение приняло его лицо, я потащил его в комнату, где, ничего не говоря молчаливо наблюдавшим за нами Омару и Того, мы принялись за работу.

Вообще все трудовые конфликты, как и следующие за ними соглашения могут рождаться только на основе производственного процесса.

Так как брили мы головы друг другу поочередно и при каждом порезе между нами возникал жесточайший конфликт, то по моему предложению мы приняли следующее соглашение — каждый бреет до того момента, пока порежет.

Не скрою, я очень был доволен собой за такое демократическое распределение труда.

«Имея организованные мозги, можно решать все и даже не очень знакомые тебе вопросы!» — не без гордости думал я и, как все кабинетные теоретики, жестоко ошибся.

Хотя число порезов у нас и было одинаковым, зато когда Степко был целиком обрит, я был только на три четверти.

— Надо же принимать во внимание разницу обрабатываемых площадей!.. Его башка вдвое больше моей! — оправдывался Степко.

— Ничего подобного!.. От пореза до пореза я обрабатывал большую площадь! — доказывал я.

У Омара и Того чесались руки, они уверяли, что прекрасно владеют опасной бритвой. Так как я был недоволен Степко, пришлось внять их просьбам, что потом только увеличило мое критическое отношение к ним обоим и соответственно количество порезов на моей голове.

Залив раствором марганцовки раны, я и Степко повязали себе головы красными платками и, кажется, выглядели не так уж плохо. Лучшим подтверждением этого явилось то, что Омар и Того в свою очередь пошли покупать красные платки.

Как это ни парадоксально, но затупевшая бритва режет намного лучше, чем острая, в чем мы убедились уже на головах Омара и Того. Бедняги хоть и ужасно гримасничали, все же стойчески выдержали до конца операцию превращения их в «корсаров».

Затем, нацепив поверх повязанных платков кепки, мы пошли гулять по деревне. Вид у нас, вне всяких сомнений, был очень мужественный, и только по старой привычке мы иногда подносили к головам руки, чтобы почесаться.

Последующие дни, пока у нас рубцевались раны на голове, мы продолжали честно трудиться, несмотря на все превратности, которые иногда приносит частная инициатива.

Уже в который раз Омару приносили обратно один и тот же патефон, который никак не хотел окончательно заиграть, а мне одного и того же ребенка, которого я категорически отказывался лечить.

Это было крохотное существо со старческим лицом, громадным раздутым животом и тоненькими ручками и ножками.

На вид ребенку можно было дать месяцев шесть, а ему уже шел пятый год, он не мог говорить и был полнейшим идиотиком.

В этот последний «визит» родители уже не посмели просить об излечении, зная, что я откажусь, а только умоляли избавить его от глистов. Они были уверены, что силу у мальчика отнимают глисты, которыми он был буквально напигигован. Насчет же ума своего единственного наследника у них не было никаких сомнений.

— Он самый умный из всех мальчиков! — говорил мне похожий на Мефистофеля верзила отец. — Когда его кормят, он смотрит на ложку!

Мать была совершенно того же мнения. Она укоряла меня за то, что я вылечил ребенка этого бездарного Мемеда, который и половины того, что может понести на спине ее муж, не может осилить и ужасно боится пограничников.

Тут я уже не смог им отказать и посоветовал давать мальчику тыквенных семечек и немного селедки.

Уходя, обнадеженные родители хотели дать мне деньги, от которых я, конечно, отказался с достоинством, улыбаясь им вслед и придерживая одной рукой Степко, который великодушно собирался провожать их до самой улицы...

Основные события начали разворачиваться со вчерашнего вечера, когда перед сном мы перессорились между собой.

Причиной ссоры была разность оценок эстетической красоты черепной коробки человека, а в пример брались наши собственные оголенные черепа.

В ходе жаркой дискуссии каждый из выступающих зло высмеивал все три черепа своих оппонентов и только потом переходил к восторженному панегирику четвертому — собственному.

За наилучшую, классическую форму черепа Омар принимал квадратный и маленький, Того — высокий и дынеобразный, Степко — узкий и удлиненный.

Мне пришлось прочесть им целую лекцию по остеологии, затем по дарвинизму и закончить словами:

— У современного человека должен быть высокий лоб мыслителя!

Почему-то все трое почувствовали себя обиженными, а Омар заявил, что у них в деревне был идиот с гораздо большим лбом, чем у меня.

Всем, кроме меня, это очень понравилось, и они долго смеялись.

Конечно, я не остался в долгу и разделал под орех каждого в отдельности, уже не стесняясь в эпитетах.

Обиженные ребята долго молчали, а затем один за другим стали похрапывать. Я же никак не мог уснуть, смотрел на выделяющийся на черной стене более светлый квадрат окна и думал о тысяче разных вещей.

Во дворе перед окном что-то завозилось и зашумело. Это было какое-то большое животное, но не лошадь, стук копыт которой я бы узнал.

Животное возилось под самым нашим окном и даже зацепило за стоящие там пустые ящики, которые упали.

Я хотел встать и посмотреть в окно, но потом решил, что все равно ничего не увижу, так как ночь была темная. Внезапно в просвете окна, закрыв его почти целиком, появился громадный медведь.

Я стал протирать глаза, думая, что это сон, а в это время под мощным напором животного с треском распахнулось окно.

От шума привскочили проснувшиеся ребята, и мы все, сидя на соломе, с ужасом смотрели, как влезает в окно медведь.

Внезапно луч электрического фонарика ослепил нас, а затем стал гулять по нашим рукам. Человек опасался, чтоб мы не применили оружия. В это время в комнату влезли еще двое.

Чиркнула спичка, осветив трех в коротких лохматых бурках людей. Пока один из них возился с лампой и зажигал ее, первый все время освещал нас фонариком, держа правую руку на деревянной кобуре маузера под распахнутой буркой.

Когда разгоревшаяся лампа осветила комнату, я хорошо разглядел пришельцев. Первый был намного старше и крупнее двух остальных. Под буркой у него был бараний тулупчин, перетянутый поясом, впереди висел увесистый кинжал, а с левого бока — маузер. Был он в лаптях, татарских грубошерстных штанах, а на голове у него была остроносая папаха со свисающими длинными космами шерсти, как и у нашего проводника. Остальные двое были одеты так же, только вместо маузеров с правой стороны у них висели наганы.

Непрощенные гости, не проронив ни слова, проверили задвижку на двери и закрыли окно, словно были у себя дома.

Я хотел спросить, чего они хотят, но из-за подкатившего к горлу комка у меня вышло какое-то неразборчивое мычание, которое не смогла бы понять даже родная мать.

Мельком взглянув на ребят, я догадался, что и у меня, наверное, такой же идиотский вид, какой у них, и разозлился.

— Чего вы хотите? — спросил я как можно спокойнее.

— Денег у нас нет! — очень некстати да еще фальцетом сказал Того.

— Все наши деньги... у каймакама... — жалко попытался поправить ошибку Того Омар.

Большой, который по виду был начальником, видно, деньгами не интересовался, так как не придавал никакого значения тому, о чем мы говорили. Упорно смотря на нас, он спросил, мешая русский и грузинский:

— Зачем вы хотели убить нашего человека?

— Какого человека?

— Никого мы не хотели убить!

— Это неправда!

— Там, на границе! — сказал большой. — А если за это теперь мы вас уьем?

Мы долго и мучительно молчали. Что меня хотят отправить на тот свет, для меня это не было новостью... но, черт побери, к этому никак не привыкнешь.

Захлебываясь от возмущения и перебивая друг друга, мы начали объяснять, каким подлецом оказался «проводник», но большой нам не верил. А когда мы

сказали, что проводник отказался перевести нас через границу и что мы решили ее сами, возмущенный таким враньем, он площадно выругался.

Молчал только бессребреник Степко, считая, что вопросы, в которых фигурируют деньги, его не касаются, и даже принял такое выражение лица, «если хотите их убивать, то убивайте, а я здесь совсем ни при чем».

Мы все же продолжали говорить свое. Наше упорство в повторении одной и той же версии в конце концов начало производить впечатление, а Того окончательно закрепит его, спросив, жив ли проводник.

— Да, жив... но очень болен, — сказал большой.

— Значит, жив!.. — Того счастливо заулыбался, и слезы радости потекли у него по лицу.

Это произвело на турок впечатление. Большой сразу переменялся и уже детально стал расспрашивать, где и в каком месте все это произошло.

Воодушевленные тем, что теперь нам уже верят, мы начали описывать каждый поворот тропинки, каждый камень и скалу. Место, где мы оставили проводника, было уточнено до мельчайших подробностей.

— Да, это далеко от границы, — недовольно покачал головой большой. — Вы не попались пограничникам только потому, что в ту ночь там был большой обвал.

Затем он по-турецки объяснил двум остальным, как все произошло, и те в свою очередь недовольно покачали головами.

Кажется, теперь все было в порядке, во всяком случае, так думал я. А большой в это время с ног до головы оглядывал нас, и его красное, заросшее черной щетиной лицо расплывалось в насмешливой улыбке.

— А нам передали оттуда, что вы террористы... и перешли границу, чтоб убить нас!.. Ха, ха, ха!.. — Большой так смеялся, что дрожали стекла в окне. Хототали и двое его соучастников, в перерывах для передышки издевательски поглядывая на нас и снова еще сильнее начиная хохотать.

Этот презрительный смех был до того обиден, что я от всей души жалел, почему я на самом деле не террорист.

Из ребят смеялся только Степко, заискивающе заглядывая туркам в глаза и останавливаясь, когда останавливались они.

Омар сосредоточенно смотрел в одну точку, о чем-то напряженно думая.

— У меня большевики расстреляли отца! — неожиданно сказал он, когда смех немного стих.

Зная о самоубийстве его отца, я с удивлением посмотрел на Омара.

— Но я отомщу им! — со злой решимостью добавил он.

— Ага... — сказал большой и вопросительно посмотрел на Того, Степко и меня.

Я пожал плечами, не желая говорить об отце в такой компании.

— Его отец был известный инженер, он умер, — сказал Того.

— А твой? — спросил большой.

— Он работает на железной дороге... и не знал, что я собираюсь бежать! — честно сознался Того.

Во время последовавшей за этим паузы я заметил, как ерзал Степко, обиженный, что у него ничего не спрашивают.

— Моего отца тоже расстреляли!.. — скороговоркой заговорил Степко. — Он был богатый коммерсант, торговал с границей... а я не мог больше жить с большевиками... и бежал! — уже трагическим тоном закончил он.

Сперва я растерялся, до того мне все это показалось мерзким, но потом подумал, что они просто намного хитрее меня. Доказательством этому было то, что теперь мы уже явно нравились большому, который с дружеской фамильярностью смотрел на нас и послал одного из молодых за чем-то.

Пока тот вылезал в окно и через несколько минут таким же образом вернулся, большой сказал нам, что он самый знаменитый разбойник на всей границе.

Честно говоря, я не понял, при чем тут граница, но не решился спросить его.

В хурджине, который принес молодой, была отварная баранья нога, сухая каурма, видно, из каких-то здешних консервов, очень вкусный серый хлеб и водка.

Через некоторое время мы уже кутили с людьми, которые пришли нас убивать.

Водка была очень крепкая, напились все, а говорил больше всех, вернее хвастал, большой. По его словам, он переходил границу и на советской территории убивал всех, у кого на шапке была красная звезда, даже школьников...

Неужели это была правда?

Хотя его здоровенное рыло моментами и двоилось в глазах, я все же пытался изучить его более внимательно.

Нет, это не был ни одухотворенный Тартарен из Тараскона, ни симпатичный фантазер Святослав Иннокентьевич.

Это было глупое, озлобленное животное, которое играло кем-то подсказанную роль. Единственную роль, которую оно и могло играть.

Вероятно, потому, что меня столько раз хотели убить, теперь у меня самого появилось страстное желание убить человека... и непременно им должен был быть этот кретин.

Для смелости я выпил свой стакан водки, затем стаканы Того и Степко.

Большой теперь не только раздвигался, но и качался.

Конечно, я должен был ударить большого, но для этого у меня не хватило смелости. Он тут же застрелил бы меня.

— Фу!.. Как все мерзко! — сказал я и, опрокинувшись на солому, закрыл глаза.

— Что он сказал? — услышал я голос большого.

— Он очень много выпил, — ответил Того, — все наши стаканы опрожнил.

— И до этого всегда пил до дна, — добавил Степко.

Снова загудел низкий бас большого, а я стал проваливаться куда-то в бездну.

Как они вылезли обратно в окно, я уже не помню.

Проснулся я утром с ужасной головной болью. Ребят не было, а комната походила на необруанный хлеб.

В кафетерии ребята сидели перед пустыми чашечками кофе, а хозяин из-за стойки переговаривался с ними, помогая себе жестами.

— В двенадцать часов надо быть в казарме, — сказал мне Того. — Наверное, суд будет.

— Слава богу!.. А который сейчас час?

— Одиннадцать.

Хозяин вышел из-за стойки, выглянул в окно, а затем подошел ко мне.

— Завтра вас отправят в Карс, а пока тебе надо быть осторожным, — сказал он.

— Почему?

— Утром, когда вы все спали, прибежал этот сумасшедший Дурду. Его ребенок, которого ты лечил, умер, не переварив тыквенных семечек.

У меня закружилась голова, и пришлось сесть.

Ребята уже были в курсе дела и молча смотрели на меня.

— Говорил, что ты убил его. Мальчика все время тошнило шелухой от семечек.

— Господи, да ведь я сказал им кормить мальчика сырыми семечками, но я ведь не говорил, что с шелухой!

— Ничего, это лучше и для него, и для родителей! — начал успокаивать меня хозяин. — Дурак, кинжал вытащил, но я... — Округлив свои, теперь кажущиеся мне такими симпатичными глаза, хозяин показал мне на торчащую из кармана брюк ручку револьвера. — Я сказал, что если он только подойдет к вашей двери, пристрелю его как собаку!

— Он очень хороший человек! — громко сказал Степко, указывая на хозяина.

— Спасибо вам большое! — сказал я хозяину.

— Это тебе спасибо! — хозяин, часто замигав, отвернулся, затем подошел к мангалу, снял с него кастрюльку для варки кофе и налил мне чашечку.

— Вы мне спасли жизнь! — немного возвышенно сказал я, чувствуя себя очень значительной персоной.

— Ты меня сделал человеком!.. У кого глаза не болели, тот не знает, что это такое! — и, расчувствовавшись, взял мою руку и хотел поцеловать ее.

Я не сразу понял, для чего он это сделал. Я отнял свою руку и сам поцеловал его.

Не знаю, как это объяснить, но мне он стал очень близок и дорог. Вероятно, так же любят врачи спасенного ими человека.

В двенадцать часов пришел за нами аскер, и мы пошли в казарму.

Хотя нам ничего не грозило, мы все же волновались. По дороге мы решили, что надо держаться с достоинством.

Проходя по деревне, я с опаской поглядывал по сторонам, но, к счастью, нигде этого похожего на Мефистофеля Дурду не заметил.

С высоко поднятыми головами прошли мы мимо будки караульного, затем перед строем аскеров в полном обмундировании и остановились в нескольких шагах от группы парадно одетых представителей гражданской власти.

В центре группы стоял каймакам и, заложив руки за спину, молча ждал. Увидев нас, он легким кивком головы дал понять, чтоб мы стояли там.

Я посмотрел на выстроившихся аскеров. Не поворачивая головы, они переговаривались между собой и смолкли, когда мимо проходил капрал.

Наконец в дверях казармы появился майор, в первый раз без своего пералучного стека в руках, и раздался излишне громкий выкрик капрала: «Смирно!»

Майор церемониально подошел к каймакаму, пожал ему руку и по-военному отсалютовал остальным.

На нас майор посмотрел, не поворачивая головы, косым длительным взглядом, затем повернулся, пошел к строю вытянувшихся аскеров и отдал какое-то приказание.

Двенадцать аскеров вышли вперед на три шага, повернулись направо и под предводительством капрала зашагали по направлению к кутузке, которая была в дальнем нижнем углу двора.

Майор стал посредине двора в позе Цезаря и ждал, когда приведут арестованных.

Мы же, как ни старались сохранять достоинство, были крайне скованны и определенно имели жалкий вид.

Видно, в кутузке, кроме Хасана и его сообщников, никого не было, так как дверь ее так и осталась открытой.

Хасан шел посреди своих низкорослых сообщников, выставив вперед нос, подбородок и кадык.

Все трое были без поясов, босы, небриты и грязны.

Наверное, как они проклинали себя за то, что не прикончили нас тогда, в горах!..

Майор в застывшей позе ждал, пока не подведут к нему совсем близко арестованных, потом зажестиковал, выкрикивая на самых высоких нотах свое возмущение, и каждому залепил по звонкой пощечине.

Двое, не моргая, верноподданнически смотрели майору в глаза, и только Хасан засверкал зрачками, стараясь отвести взор от своего начальника... и сообщника.

Удивительно выглядели выстроившиеся аскеры. Лица у них были строгие и сосредоточенные, словно они хоронили своих боевых товарищей.

Майор отдал какое-то новое приказание и, не обращая внимания ни на кого из приглашенных, стал натягивать на пальцы перчатки.

Хасана и его двух друзей уложили спиной на землю, а их босые ноги положили на винтовки, которые за дула и приклады с обеих сторон держали по двое аскеров. Аскеры стали крутить винтовки, словно шампур с шашлыками, и постепенно наворачивающийся на винтовку ремень туго прижал ноги обвиняемых к середине винтовки.

Потом солдаты выпрямились, держа винтовки на высоте груди, а трое грабителей только лопатками и затылками касались земли.

Смешно торчали в воздухе три пары босых ног, с огрубевшими желтыми ступнями... и внезапно я вспомнил прозекуру, нас, студентов-второкурсников... и фиолетово-желтые ступни мертвецов.

— Что с тобой, Отар? — шепотом спросил Того.

— Ничего... А ты думаешь, у тебя блестящий вид?..

— Да... неприятно... — сказал Того.

Я взглянул на Степко и Омара. Степко кусал губы, высоко подняв брови, а Омар был очень бледен, и кончик носа у него краснее, чем обычно.

Продолжение следует

ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ИДИ ВПЕРЕД!

РАССКАЗ

Было за полночь. Поезд шел в Ткварчели. Я чувствовал приближение к родным местам. Мне очень хотелось поглядеть в окно, но там стояла такая тьма, будто бы всю землю вместе с нашим поездом заперли в огромный сундук. Наконец я не выдержал; застегнул на все пуговицы свое старенькое пальто, купленное еще в студенческие годы, и взял с полки чемодан. Он был совсем легкий — там лежало две-три застиранных рубашки, несколько носовых платков, институтский диплом и бумага, в которой было написано, что я в качестве инженера направляюсь в распоряжение треста «Ткварчелуголь». Я пошел к двери. В вагоне остался один-единственный пассажир, старик с совершенно седыми волосами и рыжими усами. Откинувшись на спинку скамьи, он спал. В такое позднее время редко кто едет в Ткварчели. Там живут рабочие люди, спозаранку спешат они на работу, а вечером пораньше возвращаются домой.

Когда мы сели в вагон, старик все пытался заговорить со мной, но я был занят своими мыслями, и разговор у нас не клеился. Он ерзал беспокойно на своем месте, выглядывал из окна и время от времени ворчал с явной досадой: «Прицепили-то что... Посмотри, боже ты мой... Так и до утра не доедем...». Это он сетовал на то, что поезд наш тащил не электровоз, а паровоз.

Удивительные люди эти абхазские старики. Одеты они в старозаветные абхазские кумжвы с белоснежными газырями, в руках у них посохи самшитовые или кленовые с наконечниками. И ничему на этом свете они не удивляются. Идут по городским улицам мимо домов-дворцов, словно по своим горам, спокойно смотря на мощные подъемные краны, и верят в то, что сила и могуществу человека нет границ. Вот и этот дед — непременно подавай ему, видишь ли, электровоз!

Я прошел по вагону мимо спящего старика и мысленно извинился: прости, дорогой, что я был так невежлив, не поговорил с тобой о том, о сем.

В тамбуре я не ощутил холода, наверное, потому, что и в вагоне было зябко, только пронзительный ветер брызнул мне в лицо осенним дождем. Дождь шел с самого утра, шипя, как сырые дрова.

Мой вагон оказался последним. В тамбуре не повернуться было, на полу лежали какие-то большие бумажные мешки. Я поставил на них свой чемодан. Потом, уже пригладевшись, понял, что они с цементом.

До Ткварчели, очевидно, было еще порядочно, но в вагон возвращаться мне не хотелось. Я стоял, прислонившись к мешкам с цементом. Иногда, словно со зла, ветер швырял в меня горстки холодного дождя, но я не обращал на это никакого внимания.

Поезд идет пыхтя, набирает скорость. Стучат колеса, вздрагивают рельсы. «Не отступай, пока можешь, иди вперед», — это ночь шепчет мне знакомые с детства слова... «Не отступай... не от-сту-пай... Не от-сту-пай... Пока можешь, иди вперед!». Мне кажется, что я слышу чей-то ласковый, давно знакомый голос.

И вот осенняя ночь и холодный хлесткий дождь исчезают, и видится мне... Сентябрь. Солнце. Тишина и прохлада лесной лужайки. На горах уже нет яркой зелени, они потемнели, опаленные летним солнцем. Я и мой друг Миха идем вброд через речку, синюю-синюю, как и всегда в сентябре. Пес остался на берегу. Сидит и укоризненно смотрит нам вслед — понял, бродяга, что нам не до него. Все лето он повсюду сопровождал нас, сторожил одежду, когда мы купались. Бывало, мы подолгу не вылезаем из воды, а он свернется клубком возле нашей одежды и спит.

Сейчас нам некогда. Мы торопливо обуваемся на том берегу. Ноги, все лето не знавшие обуви, никак не лезут в ботинки. Как бы рубашки не помять! Но вот мы готовы и стремглав бежим к линии железной дороги.

За насыпью на косогоре, между двух высоких каштанов, стоит небольшой деревянный домишко, крытый почерневшей дранкой. Мы еще только взобрались на насыпь, а из дома уже вышли двое мальчишек. Один бежит нам навстречу. Это младший, его зовут Хуажарпыс — такое имя носил герой нартского эпоса. Старший его брат, Нарчхоу, не побегал к нам. Он ждет у дома.

Три года, как умер мой отец, я живу у тетки в деревне, что за рекой, и дружу с Михой и этими ребятами из маленького домика на косогоре.

Отец Хуажарпыса и Нарчхоу — путевого обходчик. Помню его как сейчас. Глянешь на него издали — высокий, с загорелым, обветренным лицом, с густыми густыми усами и нависшими бровями — и даже страшно становится. А подойдешь поближе, заглянешь в его голубые с мальчишеской озорлинкой глаза, и так и заструится на тебя его мудрая доброта. Обходчик рано овдовел и жил с двумя своими мальчуганами в маленьком домике у насыпи.

Мы с Михой как познакомились с сыновьями обходчика, так и не расставались с ними. Они были постарше и всегда заботились о нас. Если купаемся в незнакомом месте, ни за что в воду не пустят, пока сами дно не проверят. Если в кино собрались, всегда сами билеты достанут, в очереди постоят. Никогда не позволяли нам безобразничать и сами не хулиганили. Но очень не любили, если мы с Михой пугались чего-нибудь. Мы даже опасались, если сдрейфим, они откажутся от нас и — конец дружбе.

«Не отступай, пока можешь, иди вперед!» — вот каким был наш девиз.

Дружили мы и с обходчиком. Но было одно обстоятельство, которое мы тщательно от него скрывали. Обычно по утрам в одном удобном месте на насыпи мы поджидали поезд. По команде Нарчхоу один за другим вспрыгивали мы на заднюю площадку, а поровнявшись со школой, спрыгивали на ходу.

В первый раз я и Миха не решились сделать это. Братья ловко вспрыгнули на ступеньки, оглянулись и, увидев наши разинутые от удивления рты, так же ловко спрыгнули на полном ходу и вернулись к нам.

Они поняли, что мы растерялись от их неожиданной выходки, а, может быть, и испугались, и им стало как-то неловко. Они чувствовали себя виноватыми.

На следующий день мы с Михой начали тренировку. Догоняли поезд, вскакивали на подножки, срывались не раз, набивали синяки и шишки, но отступать было нельзя.

Через несколько дней мы уже легко вспрыгивали на заднюю площадку товарного вагона и так же легко, по команде Нарчхоу, спрыгивали у школы.

Нам попадало от кондукторов, от обходчика, который в конце концов узнал о наших проделках, но, что греха таить, мы продолжали ездить в школу на задней площадке поезда до самого окончания восьмилетки.

Часто по утрам обходчик появлялся на самом высоком месте насыпи, на том самом, откуда нам удобнее всего вскакивать на ступеньки, и прогуливался там в ожидании утреннего поезда. А потом шел нам навстречу, хитро поглядывая из-под густых бровей и пряча в усах белозубую улыбку. А мы с тоской провожали взглядом последний вагон.

Отец Хуажарпыса и Нарчхоу работал здесь обходчиком с тех самых пор, как построили ветку Очамчире — Ткварчели. Идет себе бывало по шпалам, осматривает пути и громко поет старинные абхазские песни, те самые, которые пели когда-то пастухи, чтобы заставить говорить немые скалы... или охотники, которые стреляли еще из кремневых ружей.

Тогда нам, детям, было смешно почему-то, когда он пел эти старинные песни. Сейчас я бы, наверное, призадумался...

«Не отступай, не отступай — пока можешь, иди вперед!» — сквозь шум и гул поезда шепчет мне осенняя ночь завет детства... Я снова погружаюсь в воспоминания.

Как правило, раз в неделю мы оставались ночевать в доме обходчика. Хозяин приходил поздно, а мы вчетвером, забыв об уроках и обо всем на свете, мечтали, мечтали...

Прошло столько лет с тех пор, но стоит мне закрыть глаза, как я отчетливо вижу маленькую комнату с одним-единственным окном, за которым шумит старый каштан и раскачивается электрическая лампочка, прикрытая белой тряпичей.

Мы сидим за низеньким столиком, застланным газетами и, как зачарованные, смотрим в окно. Нас четверо — Нарчхоу и Хуажарпыс, сыновья обходчика с именами легендарных героев, и мы с Михой — деревенские мальчишки, которые и в холод, и в непогоду приходят сюда, преодолевая вброд три горных реки.

Нарчхоу и Хуажарпыс — чернявые, с вьющимися черными волосами, сильные, крепко сбитые, с глазами синими, как у отца. Я и Миха — худенькие, вescuшчатые, загорелые до черноты, с одинаковыми черными глазами. Нас все принимали тогда за братьев.

Мы говорим о будущем, мечтаем вслух. Больше всех говорил Нарчхоу. Он от отца научился говорить складно. Мы даже подозревали, что он пишет стихи, но так никогда их не услышали и не прочитали.

Нарчхоу говорит о том, что будет мореплавателем. И клянется, что мы еще увидим его на мостике океанского корабля, — о меньшем он и слышать не хотел. Мы смотрим на него во все глаза, и мурашки бегают у нас по спине, и мы представляем, будто стоим рядом с ним на мостике гигантского океанского судна. А он все рассказывает, таинственно, увлеченно. Будто бы море сначала было спокойным и судно шло, оставляя на зеленой глади белую полосу, словно борозду на пашне. Он стоит за штурвалом, и мы, конечно, с ним рядом. Вдруг разыгралась буря. Море потемнело, побежали по нему волны, огромные, страшные. Судно, как щепку, кидает из стороны в сторону, а Нарчхоу держит штурвал железной рукой. И мы рядом с ним, стоим и не боимся, и верим, что он не от-сту-пит, не от-сту-пит, пока можно идти вперед!

Мы пробивались сквозь бурю... Море успокоилось. Корабль наш идет все дальше и дальше. Вот открываются перед нами ворота Дарданелл, на берегах турки в цветастых одежках смотрят на нашего капитана. Средиземное море... Навстречу нам льются чудесные песни. Потом — Красное море. Похоже, что на его дне лежат огромные куски раскаленного железа, и даже рыбы в нем красные. На знойных берегах с обеих сторон стоят арабы. Они смеются, и их зубы такие же белые, как пена наших горных весенних водопадов. Нарчхоу говорит им, что ему поручено показать красный стяг своей страны всем людям мира...

Так мы плывем по морям и океанам, разглядываем города на берегах, поднимаемся на недосыгаемые горные вершины...

А Хуажарпыс хочет быть машинистом, мчат длинные составы по бесконечным лентам дорог... Время идет, а мы его не замечаем. Скоро полночь...

Дверь тихо открывается.

— А сейчас я расскажу вам историю! — это пришел обходчик, он подмигнул нам с Михой и с притворной суровостью взглянул на сыновей. — Живите спать! И без всяких разговоров!

Нарчхоу и Хуажарпыс встают, улыбаются. Мы тоже вылезаем из-за стола.

— Я тоже люблю помечтать, — говорит обходчик. — И вообще, человек, который не любит сказок, баек, песен, — это недобрый человек. Это не человек, а камень...

Мы укладываемся спать. Обходчик гасит свет и уходит на линию.

Я сплю. Под этой крышей мне снятся сверкающие моря, исчезающие вдаль рельсы... Я то и дело просыпаюсь... На меня накатывается гул проходящих поездов, скрежет металла. Гул этот и лязг отдаются многоголосым эхом. Я слышу, что Миху тоже будят эти звуки, а все остальные в этом доме спят безмятежно — они привыкли.

Утром меня поднимает не привычное петушиное пение, а пронзительный свисток утреннего пассажирского поезда.

— Тыфу, чтоб тебе подавиться, очень уж рано ты моих ребят разбудил! — Я открываю глаза. Надо мной стоит обходчик, ругает шумный поезд, а сам улыбается.

Нарчхоу и Хуажарпыс уже сидят на своих постелях.

На завтрак у них всегда парное молоко. Есть у них большая рябая корова, которая пасется сама по себе: сама уходит, сама приходит. И никогда близко не подходит к линии железной дороги.

Перед каждым из нас обходчик ставит на стол по поллитровой банке густой простокваши.

Мы с Михой — деревенские ребята, казалось бы, молоко для нас не лакомство, но никогда не пил я такого вкусного молока, как в доме обходчика.

Мы все дружно завтракаем, а потом обходчик проведет по усам широкой ладонью, весело подмигнет нам и встанет. И мы выскакиваем из-за стола — завтрак окончен. Быстро-быстро собираем свои книжки и мчимся вниз к полотну железной дороги, чтобы успеть, пока обходчик не видит, вскочить на заднюю площадку грузового состава. Кондуктор уже знает нас, он хмурится сердито, грозит нам пальцем.

Мы мчимся в шкdle, а навстречу нам мчатся холмы, белевые домики с открытыми настежь, словно в удивлении, окнами. Стремительно приближаются к нам снеговые вершины Хуаджал. У меня каждый раз сердце вздрагивает: а вдруг столкнемся с ними!..

— Поезд может дойти до самого снега, — громко, в самое ухо кричит мне Хуажарпыс. — До самых льдов. Не веришь? Вот увидишь, дойдет!

Мы смотрим на него и смеемся, а он сердится, пожимает плечами, вот, мол, неучи, ничего о поездах не знают, даже в такую простую вещь поверить не могут.

И мы действительно несем навстречу заснеженным горам, и они стремительно мчатся нам навстречу.



«Не отступай, не отступай! Если можешь, иди вперед!».

Не от-сту-пай, не от-сту-пай — звучит во мне эта фраза. Резче слышится стук колес, а рельсы словно ломаются под ними... Я догадался — это подъем. Скоро справа должен появиться косогор, а на нем — дом обходчика.

Сколько времени мы не встречались! Окончили по восемь классов в Ткварчели и разбрелись кто куда. Я поехал в Гудаута к родственникам, окончил там среднюю школу, а оттуда — в город, в институт. Как больше и не привелось мне повидаться с моими друзьями. Знал я о них кое-что понаслышке, но толком — ничего. В эту ночь мне верилось, что и приехал-то я в Ткварчели только затем, чтобы повидать друзей. Приеду, повинюсь в своем долгом молчании. Пусть бранят, ругают.

Я по-прежнему нежно и преданно любил их. И мне уже казалось, что мы расстались только вчера и сегодня непременно встретимся.

Эта мысль согрела меня, я не помнил о холодном осеннем дожде, и мне казалось, что завтра я проснусь в деревянном доме доброго обходчика и ласковое солнце заглянет в комнату сывоз ветви старого каштана.

Я был уверен, что утро непременно будет солнечным, весенним и я окажусь в своем детстве и помчусь с портфелем в руке вниз по насыпи за последним вагоном товарного поезда, и он помчит меня к снегам Хуаджал.

В это время отворилась дверь, и в тамбур втиснулись двое в кондукторской форме, с тусклыми фонариками в руках. Мои мысли были так далеко от реальной обстановки, что я с досадой отвернулся от вошедших. Сейчас важно было не пропустить поворот. Я решил спрыгнуть и немедленно явиться к своим друзьям.

— Ты чего здесь стоишь? Видать, без билета? — строго спросил меня один из них.

— Билет есть. Просто хочется здесь стоять, вот я и стою.

— Мало ли что хочется! Здесь нельзя пассажирам стоять. Понятно?

— Понятно. Но я всегда стоял и буду здесь стоять... — Я мог бы объяснить ему, что за места мы проезжаем, рассказать о том, как давно я здесь не был, но тон его не располагал к откровенности.

— Сейчас же войди в вагон! Быстро, слышишь! — Он схватил меня за ворот пальто и толкнул. Я круто повернулся, рванул его руку и чуть не сел от удивления. И он остолбенел.

— Хуажарпыс! — крикнул я во весь голос, — Хуажарпыс! — Я обнял его и стал трясти. Мой чемодан упал на мешки.

— Чудно... — проговорил он наконец. Я взял из его рук фонарь и осветил лицо своего старого друга. Конечно, это он — он самый, большеголовый, крепкий. Возмужал, конечно, даже растолстел немного. И загорелый, как его отец, и глаза такие же синие. Но что-то изменилось в них... Я поглядел пристальней, и мне показалось, что глаза эти — точно вырубленный сад.

— Странно все же устроен мир. Как могли мы так долго не встречаться, — сказал я, отдавая фонарь Хуажарпысу. — Теперь будем видеться хоть каждый день. Меня распределили в Ткварчели. Будем дружить, как прежде, правда?

Хуажарпыс стоял, точно чего-то выжидая.

— Можно, я сегодня же зайду к вам? Ничего не говори мне. Я хочу все увидеть сам.

Он все молчал, и снова я схватил его за плечи и затормошил.

— Говорят, ты большое образование получил? — произнес он наконец.

Я ничего не ответил, засмеялся только. Какое это имеет значение, особенно сейчас! Мы снова встретились — это главное. Наверное, и его мечты сбылись, он стал железнодорожником...

— Посторонись немного, — рукой он указал мне, куда отодвинуться. Я прижался в угол. А напарник Хуажарпыса, который молчал до сих пор, поставил на пол свой фонарь и ухватился за мешок. Они дружно взялись за дело, которое, судя по всему, было им не в новинку. Мешки один за другим летели в раскрытую дверь и падали с глухими ударами, словно камни, сорвавшиеся с обрыва.

Потом спрыгнул Хуажарпыс, а следом за ним и я. Только ступив на набухший песок насыпи, я почувствовал, как сильно продрог.

Мы шли молча. Хуажарпыс с фонарем — впереди, я — следом. Только изредка перекидывались ничего не значащими словами. Дождь все лил, монотонно и хлестко. Я ждал предстоящей встречи, как драгоценнейшего сюрприза.

— Говорят, ты большое образование получил? — снова сказал Хуажарпыс. Говорил он глухо, видно, был простужен.

Я снова отщутился, не стал вдаваться в подробности. Не хотелось мне говорить об этом сейчас, я с трепетом ждал, когда придем в тот маленький уютный дом, сядем у стола и поговорим обо всем, не торопясь и не таясь.

«Добрый мой ослик, ты не сердись на меня, я все тебе расскажу», — думал я, обращаясь к нему прозвищем, которым звал в детстве.

Перебрались через насыпь, перешли пути. У самого подножья откоса мы почти наткнулись на неподвижно стоявшего там человека. Он был в таком же, как и Хуажарпыс, плаще, а у ног его, прикрытый полою, стоял тусклый фонарь. Сбоку я разглядел знакомые мешки.

— Ну и что? Всего три... Провались ты с ним вместе сквозь землю, — проговорил он зло. — Осел паршивый — вот он кто. Сидит за столом, жрет, пьет и обещает золотые горы, а потом — вот тебе на! — три мешка! Не стоило и возиться с ними. Ты, верно, ничего ему и не сказал, стоял, как немой?

Хуажарпыс действительно будто онемел. Стоял растерянный. Только теперь говоривший заметил меня. Он умолк сразу и отвернулся.

— Это Астана, мы в поезде встретились, — сказал ему Хуажарпыс. Событие еще с минуту молчал.

— Астана, говоришь? — он поднял свой фонарь и осветил мое лицо. — Чудно!

Я только теперь узнал его.

— Нарчхоу! — крикнул я и опять бросил чемодан и собрался было его обнять, но он протянул мне свою большую сильную руку, и я пожал ее.

«Я знал, что ты вырастешь таким здоровым. Ты ведь и мальчишкой был крупнее всех», — подумал я, но не сказал этого, а сказал совсем другое:

— Я думал, ты сейчас где-нибудь в океане, Нарчхоу, бороздишь морскую гладь, помнишь, как ты нам рассказывал об этом?

— А-а, море... да, да, — засмеялся он.

Хуажарпыс стоял, понутив голову, молчал. Похоже было, что он стесняется меня. «В чем дело?» — раздумывал я.

— Бери мешок и пошли. Видишь, гость продрог совсем, — сказал Нарчхоу и сам тоже взвалил на плечо один из мешков с цементом.

Хуажарпыс в точности повторил все движения брата, и мы двинулись.

— Да, сегодня не погуляешь. Дохлого котенка и того на двор жалко выбросить — вот какая погода! — добавил Нарчхоу. Он шел впереди — шагал тяжело, но быстро, а Хуажарпыс раскачивался из стороны в сторону под своей ношей.

Когда мы поднялись по откосу вверх, я услышал знакомое журчание разлившейся речушки. Она протекала у самого дома обходчика. Я хорошо это помнил. Она не высыхала, даже когда лето бывало засушливым. В сентябре, идя в школу, мы всегда останавливались перед ней и глядели в ее ярко-синюю, такую же, как небо, воду. А издали, если смотреть сверху, она походила на большую зеленую ящерицу, головой уткнувшуюся в зелень.

Дождь все лил и лил не переставая. Мое пальто уже промокло насквозь. Было холодно, и каждое прикосновение мокрой одежды было неприятно. Ноги скользили. Я все старался разглядеть получше дорогу и поэтому, тельно войдя в ворота, заметил, что на месте старого домика из широких досок стоит двухэтажный каменный дом.

Большая электрическая лампочка зажглась на балконе и осветила весь двор. Я был поражен и, что греха таить, разочарован.

«Но это же очень хорошо, — утешил я себя, — это хорошо, что они построили новый дом. А маленький, наверное, где-то в стороне, за новым. Не могли они его сломать. Я ведь знаю их — Нарчхоу и Хуажарпыса...».

— Идите в дом, — сказал нам Нарчхоу, а сам пошел обратно к насыпи, вероятно, за третьим мешком. Мы с Хуажарпысом поднялись по крутым ступеням. Он очень долго топтался у порога, шаркал ногами, вытирал, все вытирал сапоги.

Наконец дверь отворилась, и на пороге показалась женщина в теплом халате. Она молча оглядела нас.

— Оставьте у входа все мокрое, — сказала она и исчезла за дверьми. Этот голос показался мне знакомым, будто бы когда-то, давно-давно, я слышал его. Теперь я замешкался у двери. Во мне возникло какое-то неприятное чувство. Будто я спешил навстречу к любимому человеку, долго шел к нему и вдруг на моем пути разлилась река. Вот он, друг, — я вижу его, но он на том берегу и добраться до него невозможно.

У входа в комнату Хуажарпыс снял мокрую форменную шинель, а я — свое старое пальто, и мы оба повесили наше добро на новую вешалку, сделанную из свежесоструганной сосновой доски.

Комната, в которую мы вошли, была просторной, хорошо обставленной и прибранной: посредине — круглый стол под чистой скатертью, вокруг — несколько мягких и простых стульев, в углу — дорогой сервант.

Но все это показалось мне неудобным, и почему-то вспомнился дымный и теплый камин, который грел нас в такие же вот осенние вечера в старом доме обходчика.

В комнате мы были вдвоем с Хуажарпысом. И вдруг, оставшись лицом к лицу с ним, я смутился, словно непрошеным гостем вошел в чужой дом, к совершенно чужим людям. Хуажарпыс как-то виновато и неловко улыбался мне и молчал, а я незаметно разглядывал его. Ростом он не вышел, но был плотным и крепко сложен. Незузнаваемо изменились его глаза. Была в них какая-то печаль, о которой, может быть, не знал и он сам. Хуажарпыс теперь больше, чем прежде, походил на старого обходчика.

Да, где же старик? Я сразу понял, что его нет в этом доме, но спросить о нем не решился. Мне не хотелось услышать ответ, который я уже предчувствовал. И потом, в этом доме мне и не хотелось бы его увидеть.

Вошла женщина с огненно-рыжими, словно лисий хвост, волосами. Она входила и выходила из комнаты. Наконец, встретившись глазами, мы узнали друг друга, но ни она, ни я не признались в этом.

— Мы новоселы, у нас такой беспорядок...

— Да, нет, что вы, все прекрасно, — сказал я запинаясь, — все прекрасно...

Она училась в одной школе с нами. Но кто бы мог подумать, что я встречу ее в этом доме. Родня ее жила где-то неподалеку отсюда. В их семье все такие же рыжие, как она. Я знал, что они всей семьей, вместе со старым отцом, каждый базарный день проводили на рынке. Торговали чем только можно было. Помню, она любила грецкие орехи. Зимой приносила их в школу. Орехи постукивали в ее сумке. А в большую перемену она старалась улизнуть незаметно в колючки, на задний двор, спрятаться там и съесть их в одиночестве.

Мальчишки, прознавшие про это, решили ее пристыдить. Выследили и все гуртом прибежали в колючки, где она сидела на корточках и торопливо уплетала орехи. А она даже не смутилась, не покраснела, впрочем, это трудно сказать — лицо ее всегда было розовым, цвета спелого персика, выросшего в засушливом месте.

Я никак не мог поверить, что эта женщина в этом доме не гостя, а хозяйка. Но факты — вещь упрямая. И, поразмыслив, я понял: если здесь она — значит, старого обходчика нет в живых. Конечно, его нет!

— Хычу, тебе удалось что-нибудь сделать? — спросила она Хуажарпыса.

После этих ее слов, я понял, что она жена Нарчхоу — по обычаю, жена называет брата своего мужа другим именем. Но это уже было мне безразлично.

— Совсем немного, всего три мешка. Он отказал... — сказал Хуажарпыс, не глядя на невестку.

— Чудно! — вдруг помрачнела она, и чувствовалось, как в ней закипала злость. А «чудно» — я услышал в третий раз за этот вечер. Вот откуда у моих друзей это словечко!

— Чтоб его в море сдуло, чтоб у него никого не осталось на свете, как нет у меня на ладони ни одной волосинки, — теперь она разъярилась окончательно. — Бессовестный, да как он посмел дать тебе всего три мешка!

Она даже позеленела — оказывается, у нее цвет лица может измениться.

— А ты, конечно, молчал, у вас же рты словно ниткой зашиты. Бог мой, кто только вас не надувал, ротозей! — Она, конечно, забыла о моем присутствии и продолжала отчитывать деверя.

— Нужно, говорит, заплатить, — пытался оправдаться Хуажарпыс.

— Что я слышу! Заплатить? Зачем же он нам обещал цемент, идиот?! Мы без него заплатить не сумеем? Чтобы он лопнул от всего, что сожрал у меня! А ведь это побольше, чем на три кулька. Вот черт проклятый, ел, пил, удовольствие получал, а теперь — на тебе!..

Она скрипнула зубами, углы ее рта дрожали. Хуажарпыс молчал. Молчал и я. От нашей одежды шел пар. Мокро, неприятно, неудобно в сыром платье.

Как ясно я помню те детские годы, когда в том, другом — уютном и маленьком — доме нас будила гроза. Мы лежали и долго слушали, как шумит в листьях старого каштана теплый ливень... Но с тех пор прошло так много времени... Это было так давно!..

Вернулся Нарчхоу. Он был высок ростом, а в остальном очень походил на брата. Только выражение лица у него было довольное.

Жена искоса посмотрела на его ноги:

— Ты что, специально грязь искал, что ли?

— А сейчас везде грязь, — улыбнулся он.

Мы сели к столу. Разговор не клеился, мы лишь изредка перебрасывались ничего не значащими фразами. Я коротко рассказал о том, что окончил институт и вот теперь направлен в Ткварчели на работу.

— А я после школы все дома, — сказал Нарчхоу, выслушав меня. Так — туда-сюда... — он показал рукой вокруг, — сею на придорожных участках то одно, то другое, иногда оптом скупаю фрукты у тех, кто не умеет их использовать... Но, — добавил он, повернувшись к жене и снова как-то особенно улыбувшись ей, — самое главное — это то, что я поступил в ее «школу».

Она ответила на его слова кокетливым взглядом.

О Хуажарпысе Нарчхоу сказал коротко: «Работает кондуктором между Очамчире и Куазан». Сам Хуажарпыс молчал, понурился головою, и, только изредка виновато улыбаясь, поглядывал на меня.

Тем временем хозяйка накрыла на стол. Постелила другую скатерть, поставила графин с красным вином и закуски.

А меня вдруг охватила тревога: вдруг обходчик сейчас войдет, холодный, важный, сильно изменившийся, как и его дети. И хотя я уже твердо знал, что старика нет в живых, мне то и дело чудились его шаги.

Нарчхоу разлил по стаканам вино, хозяйка тоже села к столу, и все принялись за еду. Нарчхоу поднял стакан и посмотрел вино на свет — цвет был отличный.

— Это вино из собственного виноградника. В этом году сняли первый урожай. Будущей весной посажу еще столько же лоз, и тогда вина будет хватать на весь год, — говорил он, то и дело поглядывая на жену.

— Если бы вы были настоящими хозяевами, вы бы давно хороший виноградник заложили. Сколько лет здесь живете, уже можно было не только самим вино пить, но и продавать, — не переставая жевать, говорила рыжая женщина. — А если бы я не надоумила, так и сейчас сидели бы у своих жалких старых лоз.

— Да, отец, царство ему небесное, мало интересовался этим делом. Знал только свою железную дорогу. Но не будем тревожить его прах, мертвых не судят. — Нарчхоу отломил кусочек хлеба, макнул его в вино по обычаю и положил на край тарелки.

Меня уже не удивило и не поразило то, что он сказал сейчас, но все же я как-то съежился весь, зануло сердце, и горячие слезы подступили к глазам. Однако я сумел сдержаться.

— Если идти по железной дороге, она приведет тебя в одну точку. Пойдешь в другую сторону — она приведет тебя в другую. Но надо помнить, что есть кое-что и по ту и по другую сторону от дороги, — многозначительно произнес Нарчхоу и поднял свой стакан.

Но я вскочил, опередив его.

— Да будет ему земля пухом! — проговорил я быстро, боясь, что меня перебьют. — Как материнское молоко, вкушал я его хлеб-соль и никогда не забуду ни его доброго слова, ни широкой его души, где для меня всегда находилось немного тепла. Прости, что я не пролил слезы над твоим прахом, дорогой, очень дорогой для меня человек...

Хуажарпыс встал, за ним Нарчхоу, потом его жена. Выпил я, и они выпили.

После ужина я расспросил о Михе.

— Он был председателем колхоза в вашей деревне, — начал Нарчхоу медленно, точно с трудом припоминая. — Кажется, не ладил с районным начальством. Его сняли, предложили, кажется, совсем уйти из села. Но он не ушел. Долго работал рядовым колхозником, а недавно, говорят, его опять в председатели выбрали. Теперь, вроде бы, все хорошо. Колхоз вышел в передовые. Свет провели, больницу построили, дороги проложили... А сам он живет как прежде и не женился. Старый свой дом подлатал, утеплил, кухню пристроил, так и живет в нем. А люди вокруг каменные дома кладут, сады сажают, богатеют...

Спать меня уложили в большой комнате. Прежде, в старом домике из широких, прогретых и пахнущих солнцем досок, мы так рано никогда не засыпали. Долго разговаривали, совершали чудесные путешествия. Мне помнится, как часто летом я засыпал, слушая соловья, который любил петь в ветвях развесистого старого каштана.

На сердце у меня было тяжело, мысли в голову лезли невеселые, но, утомленный дорогой, после вина и ужина, я заснул быстро.

Проснулся я рано. В доме тихо. В окнах необычайно светло. Я догадался — должно быть, снег идет. Встал, выглянул в окно. Грязную наготу земли покрыл ослепительно белый снег. Он лежал нетронутым даже около дома,

где не было ничьих следов. Только внизу, под насыпью, как санный след, чернела колея железной дороги. Утренний поезд уже прошел на Кузаван.

Мне захотелось поскорее уйти из этого дома, не видеть никого в это светлое чистое утро, когда в памяти моей снова возникли слова: «Не отступай, не отступай, пока можешь, иди вперед!».

Вчера вечером басистые голоса моих приятелей, ставших безнадежно взрослыми людьми, заглушили было этот детский наш девиз, но сегодня он снова зазвучал в моей памяти.

Я с отрадой вспомнил все услышанное о Михе. Он-то, судя по всему, не отступил. Вот только устроюсь немного на новом месте и пойду к нему.

Надо было уходить, а я все стоял у окна, завороченный тихим утром и чистым снегом, и вспоминал о таком же утре десять лет назад. Тогда за одну ночь снег выпал по колено. Нарчхоу, Хуажарпыс, Михе и я шли из школы, легко одетые, но холод нам был ни о чем. Мы радовались снегу, первому, обильному. По дороге набрали на поляну в стороне от насыпи. Там снег был ослепительно белым. Ни сажа, ни угольная пыль от паровозов туда не доходили. Мы побежали, и с ходу началась отчаянная перепалка. Левобережные — я и Михе — сражались с правобережными. Снежки летели со скоростью ядер. Через час вся снежная поляна была перерыта. Мы устали, руки посинели, разбухли и стали совсем бесчувственными. Нарчхоу и Хуажарпыс были крепче и проворнее нас с Михой, но мы не сдавались.

— Не отступай! Не отступай! — кричали все хором.

Прошло немалое времени, мы дышали тяжело, как загнанные кони, и были уже не в силах двигаться. Но так никто и не победил, и никто не потерпел поражения. Тело ныло от сумасшедшей усталости, но мы были счастливы и горды друг другом...

Снег все шел. Я с трудом оторвался от окна, быстро оделся и с ощущением, будто я ночевал в чужом доме, куда случайно загнала меня вчерашняя непогода, направился вниз, к выходу.

В большой кухне, через которую я не мог не пройти, уже сидело все семейство. Плита жарко пылала.

— Отчего же так рано? — встал мне навстречу Нарчхоу, — Слово ты ночевал под деревом. Не вздумай уходить! Стыдно, вдруг увидит кто, — он засмеялся.

Но это был какой-то равнодушный вежливый смех. Мальчишкой он хохотал громко, заразительно, до слез или молча улыбался своими лучистыми глазами.

— Чего ты так спешишь? — повторил вслед за братом Хуажарпыс, облаченный в брезентовую спецовку.

— Мне надо идти, пора и честь знать, столько беспокойства хозяйке доставил.

В это время вошла рыжеволосая хозяйка. Она принесла ведро только что надоенного молока. Поздоровалась не очень приветливо и стала процеживать молоко. Я невольно наблюдал за нею и вспоминал вкусное молоко, которым обычно поил нас старый обходчик. Она аккуратно перелила молоко и добавила в него добрую треть воды. Я понял, что именно этого и дожидался, наблюдая за ней.

Когда я снова взялся за свой чемодан, она принесла на тарелке немного инжира и орехов и рюмку чачи. Что мне оставалось делать? Произносить тосты я не мастер, а тем более в это утро.

— Будьте здоровы! — и я разом опрокинул рюмку.

Нарчхоу, Хуажарпыс вышли вместе со мной. Снег все валил. Ветви деревьев согнулись под его тяжестью.

— Видишь это? — Нарчхоу показал рукой на лужайку. — Вот там хочу брату дом строить.

На лужайке действительно лежали груды кирпичей и еще какие-то материалы, занесенные снегом.

— Хуажарпыс сам построит себе дом, — сказал я.

— Да ну, одному разве справиться, — опять равнодушно засмеялся Нарчхоу. И Хуажарпыс заулыбался и смущенно поглядел на меня. Да, его глаза были похожи на вырубленный сад, в котором теперь собирались строить дом.

Распростившись с ними, я спустился к речушке и заметил у забора маленький сарайчик. Он был сколочен из широких досок — я сразу их узнал. Это было все, что осталось от дома старого обходчика.

Я быстро шагнул по дороге, и меня не покидало ощущение тяжелой утраты, словно я схоронил трех близких мне людей. Так оно, собственно, и было в действительности. Я потерял трех дорогих людей. Старого загорелого обход-

чика с веселыми и мудрыми глазами, с душой, до краев наполненной чело-
вечностью. А двое других — мальчишки, которые и днем, и ночью мечтали о
счастье для всех людей на земле, которым мерещились высокие дома и веде-
домые дали дорог. Они носили имена сказочных героев — Нарчхоу и Хуажар
пыс. Но это совсем не те люди, которые только что проводили меня до ворот
своего нового дома. Это были — муж рыжей женщины и ее деверь, которого
она называла чужим для меня именем Хычу.

Не успел я подняться на насыпь, как из-за поворота вылетел пассажир-
ский поезд. Электровоз мчал его из Куазан в Очамчире. Промельнули первый
вагон, второй, третий. В окнах видны сидящие в вагонах люди, и я тщетно по-
пытался разглядеть их лица. Но вдруг мне показалось, что я вижу седого ста-
рика, моего вчерашнего попутчика. Сегодня он доволен — его мчит электро-
воз.

Прекрасна дорога, когда на ней люди, прекрасны люди, когда они в до-
роге!..

Я долго смотрел на поезд. Он стремительно исчезал вдали, и мне показа-
лось, что обходчик и его сыновья умчались на этом поезде. Умчались навсегда,
оставив этот двухэтажный каменный дом с его модной мебелью и коврами, с
запасом сухих дров и угля, оставив эту рыжую бабу, ее мужа и деверя. Умча-
лись в вечно манящие, сверкающие дали, забыв о людях, потерпевших пора-
жение в жизни и остановившихся, когда можно и нужно было идти вперед. Они
умчались, и вместе с ними — тот старик, который, как дитя, умеет радоваться
быстрой езде...

Снеговые тучи поднялись в вышину, видно, скоро кончится снегопад. Но
вершины Хуаджал еще не видно. Я знаю, сейчас там лежит глубокий, очень
белый, никем не тронутый снег...

Я шагал все быстрее и быстрее вдоль железной дороги, и рельсы вели
меня прямо вверх, к невидимым сверкающим горным вершинам.

Перевод с абхазского Елены ЧАЙКИ и Николая МИКАВА

Иосиф НОНЕШВИЛИ

ЧЕРЕЗ ВРЕМЕНИ МЕРИДИАНЫ

Шелест лиственный ежевесенне
Пшат, орешник, миндаль, алыча
Шлют полям, и смеется цветенье,
Почва ласкова и горяча.

И земля позабыла обиды,
Злобы выюг и потопы веков,
И бывые чащобы Колхиды —
Райский сад золотых облаков.

Сквозь прозрачность лазури,
сквозь тучи
Тронул сердце пронзительный зной...
Не забыть мне горячей, ключочей,
Звонкозвучной воды ключевой.

Помню сельского пира веселье,
Не забуду задумчивость гор,
Осененный рукой Руставели,
Озаренный грядущий простор.

Незабвенны камни Кашвети,
Свод Икалто, порталы Гелати,
Мать-Отчизна, мы все — твои дети,
Что в груди твое сердце хранят!

Летописец в Хертвиси старинном
Говорил о высокой судьбе...
Дремлют горы, склоняясь к долинам,
Как древнейшая песнь о тебе.

Но сегодня в огне озаренья
Полон славою свод голубой,
Как последнее стихотворенье,
Вдохновенное только тобой.

В небе — звезд золотые тюльпаны,
И гремит в отдаленных веках
Через времени меридианы
Богатырского шага размах.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

НАТИА

РАССКАЗ

Когда Тадеоз Цнобиладзе признался друзьям, что хочет жениться на Натии, те опасливо переглянулись... Нет, со стороны девушки никаких осложнений не предвиделось: Натия и Тадеоз тянулись друг к другу чуть не с детства, да и теперь, когда приехавший в отпуск Тадеоз прошелся по селу, Натия еще издали улыбнулась ему, потом сама протянула руку и заметно при этом покраснела. А уходя домой, Натия несколько раз оглянулась на Тадеоза, — это видели все... Нет, Натия с радостью пошла бы за парня. Но вот отец ее — Пимен...

— Тяжелый он человек, — сказали Тадеозу друзья, — не согласится...

— Это почему же? — Тадеоз нахмурился, отодвинул стакан.

— Да так... Подумай сам: в селе ты не живешь, работаешь где-то на шахте... Шахта, брат, дело опасное... А вдруг завтра, не дай бог, случится с тобой беда, тогда что? А у Пимена здесь дом — полная чаша, и, кроме Натии, у него — никого на белом свете... Вот если б ты вернулся в деревню...

— И в деревню не вернусь, и Натию с собой заберу! — Тадеоз стукнул кулаком по столу, схватил кувшин, наполнил чайные стаканы до краев.

— С ног свалимся, — улыбнулись друзья.

— И пусть! Пьем за мою будущую семью, за мою Натию, за наших детей! Друзья переглянулись, молча осушили стаканы.

После обеда, распрощавшись с гостями, Тадеоз надел новую рубашку, потуже затянул ремень, пригладил волосы и направился к Пимену.

В глубине просторного, ухоженного двора Натия кормила цыплят. Увидев Тадеоза, она сразу высыпала весь подол корма копошась вокруг нее пухленьким бело-золотистым цыплятам и встала.

Тадеоз подошел к девушке, медленно взял ее за руку и пристально взглянул в глаза. Натия мягко высвободила руку, отвела взор.

— К отцу твоему пришел, — сказал Тадеоз.

— Вон он, под орехом, — Натия пугливо улыбнулась и, чтобы скрыть смущение, отряхнула платье.

Маленький, щуплый, весь лысый Пимен в одной натальной рубахе сидел на

пне под тенью огромного ореха, спиной ко двору, и топором обтесывал деревянные колья.

— Здравствуй! — приветствовал Тадеоз потную спину старика.

Пимен медленно огустил топор и обернулся. Сердито сошлись его седые кустистые брови.

— Ты кто?

— Тадеоз.

— Кто?

— Тадеоз, сын Макринэ.

— Ну?

— Что — ну?

— Гм! Врываешься к старику, который в отцы тебе годится, и на тебе — «здравствуй!» Что-то не припомню я, чтобы мы вместе гусей пасли...

— Мм... Да, и в самом деле... Извини, дядя Пимен... Но... Пришел я к тебе по небольшому делу... Выслушай, если можешь.

— Ты о чем это?

Тадеоз беспомощно оглянулся. Натия стояла у лестницы, стараясь не глядеть на мужчин.

— Если ты... если так будешь сердиться, у нас ничего не выйдет... — проговорил Тадеоз наконец.

— Когда к человеку идешь по делу, идешь с просьбой, — Пимен назидательно поднял вверх крючковатый палец, — ты должен вести себя, как полагается, — ласково, вежливо... А ты нагрязнул, словно пристав... Этак ты ко черыжки от меня не добьешься...

Пимен снова поднял топор, примерился к колу, но почему-то передумал. Бросил кол на землю, взглянул на Тадеоза.

— Ну-ка, говори что тебе нужно?

— Видишь ли, дядя Пимен... Здесь это... такое дело... Одним словом, я и Натия... мы любим друг друга и... Отдай ее за меня!

— Та-ак! Гм!.. Дело у тебя и впрямь небольшое... Да-а!.. Да ты присядь, присядь в тени, а то я тебя плохо вижу, солнце мешаает... Так ты чей, говоришь? Сын Макринэ?

— Да, Макринэ.

— Так, так... А где же ты живешь? В селе тебя не видно... Говорят, на шахте работаешь. Это правда?

— Да, на шахте.

— Дальше?

— Дальше — ничего.

— А что за этим ничего?

— Ничего.
— Значит, так: работаешь и все? И на свете нет человека счастливее тебя. Так, что ли?

— Пока как будто так...

— А завтра? А послезавтра?.. Нет, брат!... Тебя, кажется, Тадеозом звать, — Тадеозом.

— Да, теперь вспомнил... Нет, сынок! Не выйдет твое дело! Я тебе так скажу: семью твою я уважаю... Отца твоего хорошо знал, честный, работающий был человек. И мать тоже... Да и про тебя, признаюсь, дурного не слышал ничего... Наоборот... Но у меня эта девка — единственная, и в тот ад я ее не отпущу. Вот так-то, брат!.. Ты правильно поступил, что не прислал ко мне сватов, а пришел сам, молодец. Нечего разванивать по всему свету... Гордости в тебе, поди, много... Да... То-то... А теперь все между нами, и ни одна живая душа не узнает... Вот так-то... Ну, а про свою просьбу ты забудь, и больше мне об этом ни слова! Понял?

— Так в чем же все-таки причина? — Тадеоз шумно вздохнул.

— Как это — в чем? — Пимен удивленно заморгал.

— Почему ты мне отказываешь? — Тадеоз просительно сложил руки на груди.

— Потому!.. Хочешь быть добрым соседом, пожалуйста, я всегда готов, а все остальное...

— На черта мне твое соседство сда-лось!.. — рывкнул взбешенный Тадеоз. — Говорю, отдай Натю! А не отдашь, так и без тебя ее заберу!

— Что-о? Что ты сказал?!

— А что слышал!

В первые недели после того, как Натя перебралась к мужу в Ткибули, соседи замечали: выйдет она из дому с ведром в руке, минует торчащий у самой калитки кран, пройдет добрых триста шагов и поставит ведро под тоненькую струю родника, выбивающуюся из земли возле входа в Тадеозову шахту. Удивляло соседей и другое — уж слишком много воды расходовала Натя в домашности. С утра до полудня, пока Тадеоз был в шахте, она приходила к роднику раз пять, если не больше. И еще видели люди: ведро давно уже наполнилось, а Натя все стоит и украдкой, глазами, полными тревоги и ожидания, смотрит на чернеющее отверстие входного тоннеля.

Люди переглядывались и понимающе улыбались.

Слухи об этом дошли до Тадеоза.

И в одно прекрасное утро он взял жену с собой в шахту. Поводил ее по укрепленным железобетоном и освещенным электричеством тоннелям, завел в свой забой, потолок которого подпирали мощные деревянные крепи,

дал даже подержать пневматический молот. Наконец похлопал ее по плечу и спросил:

— Ну что, успокоилась? Беги теперь домой и забудь про свои глупости.

Неизвестно, убедилась ли Натя в полной безопасности шахтерского труда, но только ходить к роднику после этого перестала, да и потребность в воде у нее вдруг сильно сократилась...

Оставшийся в деревне Пимен сперва крепился, но больше месяца не выдержал. Заколотил старик двери своего дома и поехал в Ткибули. Дочь и зять приняли его с радостью.

— Что, дочка, свыклась с судьбой? Правится тебе быть женой шахтера? — спросил Пимен однажды вечером у Натя. Он уже неделю гостил в городе, и каждый раз удивленно взглядывал на вернувшегося с работы Тадеоза, словно хотел спросить: «Как, неужели ты и сегодня остался жив?»

— Сперва было трудно, — призналась Натя, — а потом... В шахте Тадеоза вот уже пять лет, оказывается, никто не пострадал... У них, папа, очень строго с этим... С техникой безопасности.

— А если вдруг подведет эта самая техника?

— Не подведет.

Больше к этой теме не возвращались. Натя хозяйничала дома, Тадеоз работал на шахте, по вечерам водил жену и тестя в кино. Так и жили — тихо, спокойно.

Но вот в конце октября на шахте, в конвейерном штреке, треснули две стойки. Обвалилась дощатая обшивка потолка, оголилась кровля. Штрек мог обрушиться, и тогда вывозить уголь было бы неоткуда. Надо было срочно заменить треснувшие стойки.

Тадеоз считался лучшим крепильщиком на шахте. Его-то и вызвали к начальнику.

— Очень устал?

— Только что смену сдал.

— Придется поработать и ночью.

— Знаю.

— А как с женой? Будет ведь страдать, — начальник лукаво сощурился.

— А я ничего ей не скажу...

— Так-то будет лучше. Моя жена и не подозревает, сколько со мной приключалось бед... А сделать надо, Тадеоз! Послушай: там потолок влажный... Так ты не вздумай менять сразу обе стойки! Обрушится, как пить дать! Ты начни отсюда, с входа... Запасные стойки...

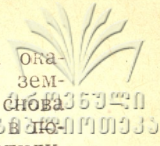
— Знаю, знаю...

— Ну, смотри...

За ужином Тадеоз сказал Натя:

— Знаешь, сегодня ночью я дежурю на шахте.

— Так устал же ты!



— Ничего, завтра день отгуляю.

— Это как же, в день два раза на работу, что ли?! — возмутился Пимен.

— Да нет, дежурить приходится редко, раз в год, — Тадеоз весело подмигнул старику.

— Дежурному и делать-то нечего, — Натиа понимающе взглянула на мужа, потом повернулась к отцу, — он лишь проверяет работу других.

— Эх! — Пимен махнул рукой и встал.

Выходить на опасную работу без напарника шахтерам запрещено. Тадеоз взял с собой второго крепильщика — двадцатилетнего Бондо Вирадзе. Парню впервые доверили столь ответственное дело; он с нескрываемой гордостью шагал рядом со старшим товарищем и был готов выполнить любое его приказание.

На месте аварии электрического освещения не оказалось. Пришлось работать при свете фонарей. Штрек был влажный, под ногами хлюпала грязь, мокрые стойки и инструменты скользили в руках. Шел первый час ночи, когда закончили подготовку запасных стоек и приступили к замене старых.

Первую стойку Тадеоз перерубил топором и сильным ударом молота вышиб ее. Доски подшивки, удерживавшиеся стойками, обрушились. В образовавшемся проеме выступила серая влажная масса породы. Затем, не встречая сопротивления, порода потекла вниз. В тот же миг раздался грохот сорвавшейся породы, и с потолка обрушилось несколько крупных глыб. Тадеоз еле успел отпрыгнуть в сторону. Глыбы рассыпались в двух шагах от него.

— Уйди! — крикнул Бондо.

Уходить было некуда. Глыбы обрушились одна за другой, рассыпаясь на мелкие куски, вздымая фонтан грязи и воды. Один из осколков породы угодил Тадеозу в ногу.

— Черт!.. — Тадеоз выронил молот и со стоном схватился за ушибленную ногу.

— Сказал тебе — уходи!

— Ух!.. Разодрало до кости!

— Смотри, как бы еще не обрушилось!

Потирая ногу, Тадеоз взглянул вверх: — Нет, уже все...

Хромая и морщась от боли, он подошел к молоту, поднял было его, но положил обратно.

— На черта он мне теперь нужен... Ну-ка, подай стойку!

Они вместе подняли стойку, она оказалась чуть длиннее. Опустили на землю, отпилили сантиметров пять, снова подняли. Установили. Оставшийся в проеме проем закрыли досками, укрепили.

Было три часа ночи.

Присели передохнуть.

— Что, больно, да?

— Больно. Постонал бы, да не хочу пугать тебя...

— Ничего, я не испугаюсь. Стоните, легче будет...

Вторую стойку сменили быстрее, — потолок был уже надежно укреплен.

К пяти часам утра собрали инструменты и двинулись к выходу. Хромавший Тадеоз опирался рукой на плечо напарника.

У входа в главный штрек, в заброшенной нише, где когда-то была подземная мастерская, мелькал свет.

Остановились.

— Что это? Здесь сейчас не должно быть никого... — проговорил удивленно Тадеоз.

Раздался чей-то приглушенный смех. Потом мерцающий свет двинулся с места и направился к ним. Тадеоз поднял свой фонарь. Свет фонаря вырвал из темноты лицо улыбающейся Натии. Жена Тадеоза была в брезентовой спецовке, резиновых сапогах; лицо измазано угольной пылью.

— Ты?! Откуда ты взялась? — потрянно проронил Тадеоз.

— Чтоб они провалились, ваши начальники! — звонок рассмеялась Натиа. — Смотри ты, отдали приказ — не впускать в шахту никого из посторонних! Битый час умоляла гардеробщика, пока дал мне спецовку и фонарь!

— Да, но что тебе здесь понадобилось?

Вместо ответа Натиа нежно обняла мужа и тихо спросила:

— Тебе очень больно?

— Да ты откуда знаешь?!

— Так я ведь всю ночь просидела рядом с вами, в другом тоннеле.

Тадеоз и Бондо переглянулись.

— А отец?

— Он ничего не знает. Уложила его спать и пошла... Он завтра домой собирается.

— Уж не ты ли его выпроваживаешь?

— Что ты! Сам он захотел... Нога болит?

— Так, не очень.

— Ничего. Я тебя быстро вылечу... Милый ты мой... А теперь свернем куда-нибудь. Там какая-то бригада работает... Увидят... Или тебе очень хочется, чтобы меня засмеяли?...

Авторизованный перевод Зураба АХВЛЕДИАНИ

Александр КУТАТЕЛИ

ДОБРОЕ ПЕРО

Первая моя встреча с видной грузинской писательницей Мариам Гарикули состоялась в 1930 году. Меня пригласила поэтесса Мариджан к себе на квартиру, на читку пьесы одного малоизвестного автора. Здесь собрались выдающиеся наши писатели — Геронтий Кикодзе, Лео Киачели, Сандро Шаншиавили, Иосиф Гришавили. Была тут и Мариам Гарикули. Среди этих мастеров слова я, тогда еще молодой писатель, чувствовал себя довольно неловко и робко, хотя к тому времени уже было напечатано несколько моих рассказов и стихов, а моя комедия «После полуночи» шла на сцене театра имени Марджанишвили. Очевидно, именно этому последнему обстоятельству я был обязан лестному для меня приглашению.

Хорошо помню тот вечер. Автором пьесы, которую мы прослушали, был не профессиональный писатель, а немолодой шофер, немало повидавший и переживший на своем веку. Пьеса, естественно, избрала многое из его жизненного опыта и посвящалась переживаниям водителя, задавившего ребенка. Но написана она была откровенно слабо, немело, и присутствующие без обиняков высказывали свое мнение о ней. Конечно, оценка пьесы не вызывала сомнений. Но мне стало просто жалко вконец расстроенного суровой критикой седоволосого человека, и потому, когда пришла моя очередь высказать свое мнение, я что-то пробормотал о том, что пьесе надо доработать и это может спасти положение. Откровенно говоря, и мне, и всем остальным было ясно, что дело безнадежно, мои слова были продиктованы исключительно жалостью и сочувствием.

Когда обсуждение закончилось, присутствующие, разбившись на группы, оживленно беседовали в ожидании ужина. Я, боясь показаться назойливым и не решаясь подойти к «старикам», одиноко стоял возле окна. Тогда ко мне и направилась красивая, статная женщина с седеющими волосами и совсем еще молодыми черными глазами.

— Вы умеете щадить, жалеть и любить человека, — сказала она, — это

большое достоинство вообще, но для писателя особенно.

То была Мариам Гарикули.

Эти слова, как мне кажется, лучше всего характеризуют все направление ее творчества, своеобразие ее пера. Разумеется, я еще до этой нашей встречи знал ее рассказы и романы. Да и она со свойственной ей внимательностью, чисто женской чуткостью и заинтересованностью следила за первыми шагами всех молодых писателей, вступивших на литературную арену, в том числе и за моими.

До сих пор к самым дорогим для меня отзывам я отношу ее слова о моем романе «Лицом к лицу». Этот роман, писала Мариам Гарикули, «привлек мой интерес не только перипетиями сюжета, но и мастерски написанными сценами... Не знаю, какие чувства вызвал этот роман у других, но во мне, которой довелось жить в период описанных в нем событий, он разбудил дорогие моему сердцу воспоминания. Образы, вылепленные тогда еще молодым писателем, настолько выпуклы и типичны, что подчас казалось, будто я узнаю в героях старых знакомых и друзей. Александр Кутатели сумел правдиво нарисовать характерное для того периода жизни Грузии политико-экономическое положение страны» (М. Гарикули, Избранное, Тбилиси, 1972, стр. 455).

Я привел здесь эту довольно большую выписку лишь для того, чтобы показать, насколько внимательно и чутко следила маститая писательница за всем новым в литературе. Для Мариам Гарикули всегда были близки и понятны чувства и мысли, страдания и радости другого, она умела сопереживать чужому горю, торжествовать успехи друзей. И это был ее принцип не только в литературных делах, но и в жизни вообще.

Писательница до последних дней своей жизни честно и самоотверженно, скромно и непретенциозно выполняла свой долг, как она его понимала, старалась облегчить страдания людей, помогала им находить правильную дорогу в жизни. Этому посвящены уже первые ее рассказы, органично влившиеся в гуманистическую традицию грузинской ли-

тратуры XIX века, — такие как «Обыкновенная история», «Сельские обжоры», «Чиновник», «Под кровлей бедняков», «Новый учитель» и другие.

Путь Мариам Гарикули к писательству не был прямым и легким, несмотря на то, что она происходила из семьи, близкой к литературе. Мать с раннего детства привила дочери любовь к книге; что же касается ее отца, Луки Татеишвили, то он сам много писал и печатался под псевдонимом Губели (от названия села Губи бывшей Кутаисской губернии, где в 1883 году и родилась будущая писательница). Его произведения хорошо знали читатели, их ценили такие классики грузинской литературы, как А. Церетели, Р. Эристави, И. Евдозишвили и другие.

Но судьба сулила девушке сложный путь. Она начала с театральных подмостков — в семнадцать лет поступила в так называемый Авчальский народный театр, который давал свои представления на рабочей окраине Тбилиси, известной своими революционными традициями. Позже она работает в Кутаисском театре, во главе которого стоял большой мастер грузинской сцены Ладо Мехкишвили.

Знакомство с лучшими представителями передовой грузинской интеллигенции, близость к жизни трудящихся закономерно очертили круг симпатий и интересов девушки. Не случаен сам псевдоним, избранный ею, — Гарикули, что означает «отверженная», «изгнанная»...

Первое ее произведение — рассказ «Жертвы жизни» увидел свет в бурном 1905 году в иллюстрированном приложении к газете «Цнобис пурцели» («Листок справок»). В этом рассказе, посвященном простым людям и их настроениям в период революционного подъема, явно ощущается влияние Максима Горького. Позднее сама писательница вспоминала: «Конечно, мне трудно судить о своих литературных возможностях, однако, что касается мировоззрения, то о нем я должна сказать хотя бы несколько слов. Оно... формировалось под влиянием наших великих писателей и в том числе Максима Горького. В рассказах Горького меня волновала проблема Человека, которую он решал очень по-своему. Я чаще сознательно, а подчас и невольно становилась на утверждаемые М. Горьким идейные позиции. Правда, в моих рассказах есть налет сентиментальности (это я заметила значительно позже), но все же они дороги мне идейной верностью Максиму Горькому» (там же, стр. 464).

Так и определилось, начиная с первых шагов, творческое своеобразие писательницы, которому она оставалась верна на протяжении более чем полувековой своей литературной деятельности.

Уже в годы первой русской революции М. Гарикули принимает активное участие в распространении запрещенной литературы и прокламаций, скрывается на конспиративных квартирах, а ее рассказ «Доносчик» запрещается цензурой, и его распространение преследуется.

Мариам Гарикули становится популярной писательницей, ее рассказы, посвященные жизни обездоленных и эксплуатируемых, прочно занимают свое место среди произведений писателей-реалистов на рубеже XIX—XX вв. Со свойственной для нее скромностью и требовательностью к себе она впоследствии напишет: «Не каждому же дано быть выразителем эпохи. Ведь всегда и во все времена рядом с великими людьми трудились простые смертные... Почва, питающая соками могучие деревья, дает жизнь и мелкому кустарнику» (там же, стр. 368—369).

С этими словами можно согласиться, только с одной поправкой: в произведениях Мариам Гарикули, при всей скромности их автора, все же выразилась эпоха — так было и в дореволюционный период, и в первые годы становления Советской власти, и в период Отечественной войны. Свое, только им одним принадлежащее место заняли в грузинской прозе и в сердцах читателей (не только грузинских — произведения М. Гарикули не раз издавались в переводах) рассказы «Сафирнази», «Дона», «Слепой Алексис», повести «История одной ночи» и «Сквозь грозы», большой роман «Отражение», книга мемуаров «Пройденный путь». Все они написаны не только уверенной рукой писателя, но и согреты теплом человеческого сердца.

Не случайно известная русская писательница Ольга Форш в своей статье среди писательниц Грузии, одно из видных мест отвела Мариам Гарикули, определив общий характер ее произведений как «дидактический реализм» (журнал «Звезда», 1934, № 1). Это, представляется мне, весьма точное определение, если понимать под ним извечную задачу литературы служить для людей учебником жизни, «пособием», которое учит различать добро и зло.

В заключение хочу повторить слова любимой писательницы: — Падать, жалеть и любить человека — это большое достоинство вообще, но для писателя особенно.

ПРЕОДОЛЕННАЯ ВЫСОТА

Грузинских писателей справедливо упрекают в том, что они в своих художественных произведениях редко обращаются к жизни рабочего класса, коллективов крупных промышленных предприятий. Точнее, они редко поднимают темы, связанные с этой областью, и еще реже добиваются более или менее значительных успехов в их разрешении. Но участь Руставского металлургического завода в этом смысле, можно сказать, завидная. Ему посвящено несколько произведений—романов и повестей, не говоря уже о коротких рассказах. Правда, к сожалению, я затрудняюсь отметить какое-либо из них как наиболее интересное в художественном отношении и заслуживающее особого внимания. Даже роман Акакия Белиашвили «Рустави» не вполне отвечает тем высоким требованиям, которые предъявляются большому художественному полотну.

Вот почему естествен и закономерен интерес, с которым литературная критика и читатели встретили «Седьмое небо» Гурама Панджикидзе—роман о металлургах Руставского завода.

Такой большой и заслуженный успех Гурама Панджикидзе можно объяснить и тем, что в «Седьмом небе» отображен мир, досконально известный автору; все, о чем он пишет,—непосредственно им самим пережитое; ведь, прежде чем стать профессиональным писателем, он был профессиональным металлургом. Вот почему с таким знанием дела и любовью писатель показывает нам металлургический завод, в частности мартеновский цех. При этом он нередко прибегает к описанию производственных процессов, зачастую довольно подробному, однако, как правило, чувство меры не изменяло ему и описание этих процессов всегда использовалось им постольку, поскольку это было продиктовано необходимостью показа повседневной жизни его героев или раскрытия каких-либо черт их характера. Лишь в одном или двух местах описание производственных процессов утомляет читателя.

Жизнь металлургического завода в «Седьмом небе» познана и осмыслена человеком опытным, знающим; пишет

он о ней с глубоким проникновением в суть изображаемых им процессов и явлений, в характеры сталеваров. Сказать по этому поводу можно было бы много хорошего, но пока отметим лишь основное достоинство романа—образ его героя Левана Хидашели. На нем сконцентрировано все внимание автора. В жизни и характере Левана Хидашели сосредоточено все, что хотел сказать своим произведением писатель. Каким бы ни было наше отношение к Левану Хидашели, ясно, что этот образ—явная и убедительная удача Гурама Панджикидзе. А отношение к этому герою, действительно, очень различное, и это—повод для особого разговора.

Кто же все-таки Леван Хидашели? Этот вопрос неизбежно возникает после прочтения романа Гурама Панджикидзе «Седьмое небо». Образ Левана Хидашели, его жизнь и судьба располагают к раздумьям, беспокоят, вызывают потребность во многом разобраться. Это не тот случай, когда без колебаний можно поставить клеймо: отрицательный! Но он отнюдь и не «герой нашего времени». Леван Хидашели—образ человека своеобразного, сложного, с характером очень жизненным и новым для грузинской и в значительной мере—для всей советской литературы. Тот, кто уже знаком с романом, наверное, согласится с тем, что под «сложным внутренним миром» здесь ни в коей мере не подразумевается распространенная в современной прозе «сложность» выявления образа, иногда довольно интересного, а чаще отмеченного неоправданной претенциозностью. Форма раскрытия этого образа как раз чрезвычайно проста и обычна, возможно, даже излишне прямолинейна. И все-таки, кто же он, Леван Хидашели—человек злой или доброй воли, карьерист или преисполненный желания трудиться молодой специалист? Томится ли он жаждой честолюбия или престождошню стремится к успеху? Идет ли по дороге протоптанной и легкой или избирает свою и трудную? Какие отношения связывают его с тем достаточно пестрым кругом людей, с которым ему приходится общаться? Живет ли компромиссно или твердо отстаивает в жизни свои принципы? В ходе размышлений над этим образом возникает бесчисленное множество вопросов. И только отве-

тив на них, можно разрешить главный вопрос: кто же Леван Хидашели? Но и это не исключает возможности разного прочтения этого образа. На деле так и получилось.

Московский критик Л. Тераколян в напечатанной в «Дружбе народов» (№ 10, 1969) статье писал: «Грузинская критика горячо приняла эту книгу («Седьмое небо». — Г. Г.), хотя и разошлась в оценке ее основного героя: от восхищения Леваном Хидашели до полного неприятия его». И там же справедливое заключение:

«В этих разночтениях отражается невыдуманная противоречивость характера персонажа. К герою Гурама Панджикидзе и впрямь не подберешь однозначных определений».

Тут имеются в виду моя статья «Кто такой Леван Хидашели?» («Цискари», № 8, 1968) и ответ на нее Лины Хихадзе — «Действительно, кто же такой Леван Хидашели?» («Цискари», № 5, 1969), в которых этот образ прочитан и понят по-разному. Несмотря на то, что некоторые соображения Лины Хихадзе разделяют и другие критики, да и нельзя не согласиться, и что многие положения моего оппонента правильны и звучат убедительно, я все же полностью не могу принять ее оценку Левана Хидашели; но должен признаться, что в моей первой статье о романе Г. Панджикидзе этот образ представлен тенденциозно и односторонне. Сейчас, когда прошло достаточно времени после опубликования «Седьмого неба», считаю необходимым объяснить причины, побудившие меня быть столь тенденциозным.

За последние десять лет грузинские читатели, а вместе с ними и литературная критика, можно сказать, отвыкли от героев с сильными характерами, энергичных, преисполненных желаний, имеющих большие цели, хорошо знающих, чего они хотят в жизни. Этот процесс, видимо, общий для всесоюзной литературы, который русские критики очень точно назвали «дегероизацией», в грузинской литературе проявился если не в большей, то уж во всяком случае не в меньшей степени. В свое время нашей литературной критикой была прослежена закономерность этого явления, были объяснены вызвавшие его причины.

Стало ясно, что этот процесс породил в литературе иную односторонность. Из страха перед «вымышленными» и «надуманными» героями в нашей литературе почти исчез герой активный, романтически настроенный, с высокими целями, полный жажды больших дел. Леван Хидашели представляет собой обобщенный художественный образ сильных и к тому же совершенно реальных людей, и потому я сосредоточил все свое внимание на привлекательных и

интересных сторонах его натуры, обобщив отрицательные черты.

Одной стороной своего характера Леван Хидашели примыкает к типу сильных, тем художественным образам грузинской натуры, которые в грузинскую молодежную прозу ввел Гурам Рчеулишвили и которые потом появились и в рассказах Гурама Панджикидзе. Леван Хидашели похож на них лишь твердостью характера, но не мужеством сердца. Они были цельными личностями, Леван Хидашели же раздвоен, полон противоречий.

Мы знакомимся с ним с первых же страниц романа. На протяжении всего произведения он не выпадает из поля нашего зрения. Непритязательная композиция «Седьмого неба» построена так, что все сюжетные линии произведения непременно тянутся к Левану Хидашели. Его дела и жизнь приводят нас на Руставский металлургический завод, где мы соприкасаемся с судьбами руставских сталеваров и с людьми, противопоставленными этому миру, — будь то семья Платона Миндадзе, школьный друг Хидашели — Гиви Микадзе или артист филармонии Симон Канчавели со своей кокетливой женой. Биография Левана Хидашели, все ее коллизии связывают эти сюжетные нити, которых в романе не так уж много, в один узел, концентрируя в нем суть его характера.

Гурам Панджикидзе всецело увлечен показом своего главного героя. Поэтому создается впечатление, будто о других персонажах он торопится сказать только необходимое, чтобы снова вернуться к Левану Хидашели. Правда, нельзя сказать, что портреты Михаила Георгадзе, Элизбара Хундадзе, Маринэ Миндадзе и других оставляют ощущение незавершенности, недосказанности, что их внутренний мир обрисован поверхностно, раскрыт недостаточно. И все же чаще всего с самого же начала автор выдает им свои характеристики, создавая таким образом представление о них. По ходу событий их характер демонстрируется уже во взаимоотношениях с главным героем. Так, с самого начала мы точно представляем себе и Платона Миндадзе, и его жену Тинатин, и молодого аспиранта Бидзину Артмеладзе, и, что обиднее всего, друзей Левана — металлургов Важа Двалишвили, Нодара Эргадзе, Резо Кавтарадзе.

В связи с этим справедливым представляется замечание В. Камянова, который в своей статье («Литературная газета» от 21/VI 1972 г.) называет их «сопровождающими» персонажами и отмечает, что они «не столько действуют, сколько отзываются на действия «героя», словно осуществляя задачу этического контроля на аварийной линии событий. В таком размещении сил есть один, по крайней мере, очевидный минус: эти персонажи обречены вплоть до

сигнала тревоги на внутреннюю инертность, а после него — на активность зконаправленную».

Можно предполагать, что это проистекает не по неопытности автора, не невольно, а что это совершенно закономерно продиктовано его замыслом: весь роман в целом посвящен раскрытию сложного характера Левана Хидашели. Вероятно, писатель был глубоко убежден в том (и тут он, безусловно, прав), что успех или неудача «Седьмого неба» если не полностью, то во многом зависит от того, насколько удастся образ Хидашели, потому и сосредоточил на нем все свое внимание.

Так и получилось. Роман имел успех и большой резонанс благодаря Левану Хидашели. «Седьмое небо» было принято, но споры вокруг его главного героя не утихают. Леван Хидашели — личность, несомненно, сложная, но и автор, по-моему, несколько поторопился, расставляя акценты; его разоблачительный пафос слишком прямолинеен и откровенен.

Явно отрицательное отношение к Левану Хидашели наиболее активно проявили Лина Хихадзе, затем В. Камяннов и Н. Воронов, выступившие в «Литературной газете». Но службе всех, на мой взгляд, заглянул в суть дела В. Гейдеко («Комсомольская правда», 13/VII 1972 г.). Он пишет: «Отношение Гурاما Панджикидзе к герою его романа «Седьмое небо» не однозначно. Будет правильным сказать, что Леван Хидашели антипатичен писателю. Но так же правильным будет и другое: многие качества Левана не могут не вызвать у автора восхищение». Убедительным и точным показался мне анализ этого образа в опубликованной «Дружбой народов» статье критика Л. Теракопьяна. Он более пристально и глубоко рассмотрел Левана Хидашели и точно определил сильные и слабые стороны его натуры. Мы еще не раз вернемся к отдельным положениям этих критиков, а сейчас попытаемся еще раз проследить за развитием этого интересного характера.

С самого же начала Леван Хидашели покоряет читателя своим обаянием, мужественной внешностью, молодостью, красотой, умением держаться с достоинством. Так же как и всем его ровесникам, ему хочется пожить вольной, преисполненной любви и ласки жизнью, такой, какой ему представляется жизнь юноши и девушки, находящихся вместе с ним в самолете и, как видно, возвращающихся в Тбилиси из свадебного путешествия. Но, не оправдав надежд своих преподавателей, он отказался остаться в аспирантуре, чем немало изумил всех, и в течение ряда лет — по собственной воле — изъездил все крупнейшие центры России, выбирая работу

на тех металлургических заводах, где плавка стали велась наиболее интересными методами. Жил только работой.

Накопив жизненный опыт, ~~восторженно~~ не подготовленный молодой ~~специалист~~ возвращается в родной город и снова окунается в свою стихию — приходит на металлургический завод. Он выделяется среди сверстников своими незаурядными способностями, они относятся к нему с уважением и доверием. Вскоре Леван становится одним из ведущих инженеров-металлургов в республике.

Он сразу же располагает к себе всех, с кем ему приходится общаться на Руставском заводе, — и руководителей завода, и сталеваров. Он бесконечно предан своему делу, отдает ему всю свою энергию, все знания и совершенно заслуженно добивается больших успехов. Его представляют на высокое звание Героя Социалистического Труда, назначают начальником мартеновского цеха. Он работает над диссертацией, и хотя это вызывает беспокойство у руководителей предприятия, Леван и не помышляет об уходе с завода. Завод влечет его больше, чем научное учреждение. Здесь есть где развернуться его таланту и энергии, здесь он может принести больше пользы.

У Левана Хидашели свои принципы, которых он твердо придерживается в жизни. Ему чужд мир, который автор описывает с сарказмом, в резком тоне, и все, что характерно для этого мира: сомнительная роскошь и благополучие, бессмысленное существование и беспечность — все это абсолютно неприемлемо для Левана. Он не только не жалуется людям, причастных к этому темному миру, но презирает даже тех, «кто лишь для того и живет, чтобы самому ничего не делать и наслаждаться только сделанным другими, чужим трудом». В этих словах, в этой его убежденности мы узнаем заповедь героя рассказа Гурاما Рчеулишвили «Алавердоба», который первым из молодых грузинских писателей провозгласил эти принципы. Леван Хидашели твердо следует этим принципам, и он не может не нравиться нам, хотя есть в романе намеки на то, что самоотверженный труд Левана Хидашели и его неутомимая деятельность не так уж бескорыстны. Автор, правда, редко, но все же давал нам возможность понаблюдать и за проявлением дурных черт характера Левана, но это лишь вызвало искреннюю досаду, не давая достаточного повода для неприятия этого героя. Развешать его писатель решил лишь в конце романа, когда в связи с происшедшим на заводе несчастным случаем он срывает с Левана Хидашели маску и обнажает его эгоистическую суть.

Г. Ковалевич в своей статье в газете «Труд» отмечает: «Щедрость авторских

аттестаций герою поначалу вводит в заблуждение: какое редкостное соединение мужества, силы, таланта, энергии, молодости, ума, размаха в этом Леване Хидашели...». Затем он перечисляет все достоинства Левана и продолжает: «И все же что-то смущает в этом человеке. Некоторая душевная грубость, холодность? Будем по-житейски снисходительны: эту особенность можно истолковать и как прямоту. Леван не знает компромиссов. Он живет так, как водит машину — на предельной скорости. Но вот начинают твориться странные вещи...

В цехе произошла катастрофа...».

Н. Воронов тоже отмечает обаяние Левана и то, что «...по мере чтения в нас вспыхивают недоумение и еще не совсем объяснимая досада, чувство неприязни к Левану. Все прояснится, когда он... предательски увильнет от человеческого решения судьбы сталера, обожженного кипящим металлом».

Более подробно останавливается на достоинствах Левана Л. Теракопян, но и он видит явно очерченные отрицательные черты характера героя только после несчастного случая в цехе. Лишь Лина Хихадзе заявляет: «Этот предстательный молодой человек тотчас же (в начале же романа. — Г. Г.) обращает на себя внимание, нравится, и одновременно вы проникаетесь неприязнью к нему». Нельзя не разделить разоблачительный пафос Лины Хихадзе, ее нравственную концепцию. Но вряд ли Леван Хидашели сначала же дает повод для осуждения. Давайте обратимся к роману, чтобы проследить, каким выглядит он, пока трудные обстоятельства не начнут испытывать его характер.

С самого начала и внешность, и духовный склад Левана, безусловно, привлекательны. Он и способен, и трудолюбив, и порядочен, выгодно отличается от многих из тех, кто его окружает. Писатель будто специально лепит образ своего героя на фоне порочных людей, чтобы его достоинства сразу же стали очевидными. В первом же эпизоде, когда Леван на самолете возвращается в Тбилиси, мы видим рядом с ним духовно опустошенного, невзрачного лысого торгаша, едвшего в Москву спекулировать. И брезгливое отношение Левана к этому перекупщику усиливает наши симпатии к герою. По возвращении в Тбилиси в аэропорту Леван случайно встречает школьного товарища Гиви, и в этом значительном эпизоде подле философа по образованию и делаги по призванию он вновь покрывает твердостью характера, внутренней порядочностью, чувством собственного достоинства. И с кокетливой и ветреной Изой он ведет себя так, что нам не в чем его упрекнуть. Мещанский салон Миндадзе — именно та среда, в которой

со всей очевидностью проступают правдивость его принципов и душевная чистота. Добытчик денег Платон Миндадзе, постоянная посетительница косметических кабинетов пожилая щеголиха и юбка Тинатин Миндадзе и их ветреная дочь Маринэ, мастерски разоблаченные писателем, заставляют нас проникнуться большими симпатиями к Левану Хидашели. И когда мы ощущаем его явно ироническое отношение к этой семье, а потом становимся свидетелями того, как он в машине снимает с Маринэ драгоценности со словами: «запомни — я не люблю маскарадов», — невозможно, чтобы наши симпатии к нему не возросли. Если бы писатель ставил перед собой задачу с самого же начала обозначить эгоистическое начало и честолюбивые намерения Левана, он не должен был создавать своему герою такой выгодный для него фон.

Но и на металлургическом заводе в окружении людей трудолюбивых и порядочных Леван Хидашели отличается своей целеустремленностью, способностью работать и руководить (отстающую смену он очень скоро выводит в передовые), стремлением ко всему новому (он или инициатор новых починов, или горячий их сторонник), отзывчивостью (буквально поднимает на ноги больную жену Лексо Арчешавили). Одним словом, Леван Хидашели и на заводе — душа замечательного коллектива, он окружен любовью и уважением. Я думаю, нет оснований для того, чтобы с самого же начала относиться к Левану Хидашели с предубеждением.

Лишь иногда нас настораживает душевная холодность Левана, его постоянно трезвое отношение ко всему и всем и ни в чем не участвующее сердце. Во взаимоотношениях с людьми он чаще всего справедлив, но суров и равнодушен. Лишь в его чувстве к Натиа раскрывается способность Левана искренне любить, быть нравственно чистым. Только Натиа своей духовной красотой и непосредственностью способна вызвать в нем истинное чувство.

Таким мы видим и принимаем Левана Хидашели, пока автор в конце романа не покажет нам его совсем в ином свете. Как выясняется, по замыслу писателя движущим стимулом для Левана Хидашели, во всяком случае, одним из сильнейших импульсов, были его честолюбие и стремление сделать карьеру. Потому Г. Панджикидзе уготовил для него тяжелые испытания, выявившие его низменные чувства. Но, по моему мнению, автор несколько поторопился как здесь, так и тогда, когда обеспечил Левану Хидашели в кратчайший срок головокружительную карьеру, даже представляя его на звание Героя Социалистического Труда. Но писатель был здесь более убедителен, и читатель

был полон доверия к тому, что для обладающего такой целеустремленностью сильного молодого человека и в самом деле не должно быть почти ничего невозможного. Разоблачительный же пафос в финале уже не обладает той силой убеждения, поскольку писатель торопится сорвать маску со своего героя и дать нам разглядеть, как в накале своих эгоистических чувств и издавна угнездившихся карьеристских устремлений герой пришел к духовному падению, а затем и к полному краху.

К концу романа автор уже не так старателен и усерден в подборе ситуаций, в которых со всей полнотой могло бы проявиться нравственное падение Левана.

У финиша автор поставил ему такую западню, которая заставила его потерять равновесие и выявить свои глубоко затаенные намерения, открыть перед лицом друзей и заводского коллектива свое подлинное лицо. Именно в те дни, когда Хидашели представляют на звание Героя Социалистического Труда, сталевар Лексо Арчешавили, которого мы воспринимаем как человека порядочного и положительного, является в смену с похмелья. Работать же у мартеновской печи в таком состоянии крайне опасно. Лексо убеждается в этом на своем горьком опыте. По его небрежности расплавленная сталь вырвется наружу и обожжет ему ногу. Ногу ему спасут, но он навсегда останется инвалидом и не сможет работать по своей профессии.

Леван Хидашели вовремя заметил состояние Лексо и предложил ему вернуться домой. Тот запротестовал. После же несчастного случая все напряженно ждут: если Леван возьмет вину на себя, Лексо назначат максимальную пенсию, если скажет правду — Лексо материально пострадает. Все убеждены, что Леван мужественный человек и не допустит, чтобы интересы семьи Лексо были ущемлены, но Леван говорит правду.

Ясно, что Леван Хидашели делает это, спасая собственную карьеру, а не из высоких принципов. Писатель настойчиво убеждает нас в этом, заставляя заглянуть в душу своего героя и разглядеть его низменные чувства. Леван Хидашели в страхе, что из-за происшедшего для него все может быть потеряно: награда, карьера, блестящее будущее. Единственная надежда сохранить достигнутое — сказать правду. «Иначе не мог, я сказал правду», — говорит Леван, а мы знаем, что он лжет и говорит эту правду, заботясь лишь о собственной судьбе. Но этого не знают его близкие друзья и сталевары. У них еще нет оснований усомниться в искренности его слов. Потому нам и показав-

лось странным, что друзья Левана и все вокруг вдруг разглядели в нем плохого человека. Вот и их аргументы.

«Что случилось бы, если бы в таком случае встали на позиции не только законные, а и человеческие? Что потеряли бы громадный завод и все государство, если бы Лексо Арчешавили получил пенсию на тридцать или сорок процентов больше?.. Разве разрушился бы от этого Руставский металлургический завод?»

Поразительно, что убедиться в порядочности Левана все хотят именно через его нечестный поступок, ожидая от него неправды. Допустим, что Леван Хидашели сказал эту правду не ради спасения карьеры, а ради истины. Выходит, что и тогда он не избежал бы укоров и крутого поворота по отношению к себе со стороны коллектива. Какие же тогда нравственные преимущества у друзей перед Леваном Хидашели? Поэтому я и сказал выше, что ситуации, в которых должна проявиться духовная порочность Левана Хидашели, продуманы не до конца. В этом убеждает и последующее развитие событий: от Левана отворачиваются все, кроме Важа Двалишвили, который пока еще верит в искренность и правдивость поступка друга. Утративший равновесие Леван признается ему в том, что его потрясает: «Некоторые думают, что и мне судьба улыбнулась — выдвинули на Героя. А я днем и ночью сидел в цехе, нянчился с рабочими, бегал за врачами для их больных жен и детей. Может быть, ты думаешь, что все это мне доставляло удовольствие?!». Вот здесь-то и должен был Важа прервать его и сказать то, что сказал в связи с другой его исповедью, — «мне тебя жаль». Здесь Леван и впрямь жалок. Каким фальшивым был он в своей доброте, как горек путь его восхождения, мы поняли только из этой фразы.

Но Важа поражен не столько этим признанием, сколько тем, что Леван, оказывается, написал диссертационный труд. Почему-то среди металлургов-практиков в романе установилось высокомерное отношение к научным работникам. Они усматривают в этом измену профессии, научную деятельность ставят в вину каждому металлургу, который вдруг задумает к ней обратиться. И действительно, если судить по роману — все истинные металлурги работают на заводе, ученые же — ограниченные бездельничающие приспособленцы. Это и неубедительно, и просто неверно.

Леван Хидашели в порыве откровенности очень резок, но он приводит довольно веские доводы в защиту своего пренебрежительного отношения к ученым-белоручкам: «Они не плавил металл, ни разу не стояли у печи. Зато

в кармане у них непременно лежит календарь, где отмечены дни рождения их тбилисских девиц, а на работе половину своего времени они проводят в дурацких спорах, кто лучше: Мехси или Метревели».

Да, Леван Хидашели хочет стать Героем, мечтает и о лауреатстве, хочет руководить научным институтом. Но какой ценой? Ценой «разбитых ночей и адского труда».

Права Лина Хихадзе, упрекающая Левана в маниакальном стремлении к успеху. Во имя этого он принес в жертву доброе отношение людей к нему, стал эгоцентриком. Но нельзя не видеть и того, что Леван добивается только заслуженного, приобретенного лишь трудом, в поте лица успеха.

На оставшегося в полном одиночестве Левана обрушивается еще одно испытание. Вздурожанного происшедшим Левана, искавшего облегчения в вине, завлекает Маринэ Миндадзе и губит его единственную настоящую любовь к Натиа. Подавленного морально Левана автор не уберег еще от одной опасности. Сознывая, что счастье утрачено, он, убегая от всех бед, несясь в машине на предельной скорости, врезался в железный столб.

В предисловии к роману Гурам Панджикидзе пишет: «Человек никогда не почувствует себя счастливым, если его жизнь и деятельность не проникнуты любовью к людям».

Эту истину мы принимаем безоговорочно и соглашаемся с автором, что все несчастья его героя проистекают от его холодного, рассудочного шествия по пути к намеченной цели. Его большой и искренней любви удостоилась только Натиа, ни к кому другому он не испытывает даже простого человеческого тепла. Он живет только рассудком, никогда не прислушиваясь к голосу сердца. В этом вся его беда и несчастье.

Леван Хидашели, возможно, и избежит смерти, и хочется верить, что пережитое заставит его многое переосмыслить и тогда ему по плечу будут любые испытания.

Я верю в это, и вместе со мной разделяют эту веру Лев Теракопан и Николай Воронов, поскольку этот роман не только познакомил нас с Леваном Хидашели, но и заставил проникнуться симпатией ко многим чертам его характера, к его принципам и честному отношению к жизни. И трудно отречься от него — сильного и интересного молодого человека (хотя так поступили его друзья).

* * *

По-другому сложилась судьба нового романа Гурама Панджикидзе «Камень драгоценный».

Несмотря на то, что этому роману Гурама Панджикидзе с самого начала была дана ошибочная оценка, а литературная критика предпochла молчание, он все же внес большое оживление в литературную жизнь, взбудоражив общественную мысль. Номера «Цискари», где он напечатан, были нарасхват; все торопились прочесть роман и высказать о нем свое суждение, хотя делалось это лишь в узком кругу друзей и знакомых.

Общественное мнение, насколько можно судить, не было единодушным. У тех, кто узнал себя в многообразной галерее отрицательных персонажей, роман, естественно, вызвал возмущение. Многие горячо приветствовали его, были восхищены содержащейся в нем неприкрытой правдой и не хотели замечать в нем никаких недостатков. Некоторые же полностью сочувствовали автору, разделяли его позиции, были признательны ему за смелость, но к художественным достоинствам произведения относились с некоторым сомнением.

Улеглись первые впечатления, и настало время спокойно оценить все достоинства и недостатки «Камня драгоценного».

Хотя Гурам Панджикидзе работает интенсивно и плодотворно, делать глубокие обобщения о направлениях его творческого пути, о главных приметах, определяющих его прозу, рано и нецелесообразно. Не будем торопиться и поддаваться соблазну литературного прогнозирования. Время и писатель сами помогут разобраться в этом. Сейчас пока можно сказать лишь то, что Гурам Панджикидзе все больше проявляет свою непримиримость ко всему уродливому в жизни. Как мы видели, эта черта характера писателя проявилась в его рассказах, затем была уже более явно выражена в первом его романе, теперь же во всей полноте раскрылась в «Камне драгоценном». Писатель забит тревогой.

В «Седьмом небе», одолеваемый недугом честолюбия, главный герой враждовал и среди легкомысленных, корыстолюбивых людей, и был окружен здоровой, целевой средой — коллективом металлургического завода. В «Камне драгоценном» же двум друзьям Тамазу Яшвили и Отару Нижарадзе, наделенным добротой и высокой нравственностью, противопоставит мир людей равнодушных, корыстолюбивых, ограниченных, антипатичных и просто порочных.

К сожалению, даже у Тамазе Яшвили, Отаре Нижарадзе, этих предельно честных и порядочных молодых людей, нельзя сказать смело, что они активно противопоставят ярко и выпукло обрисованному порочному миру. И еще некоторым персонажам автор выражает свое

явное сочувствие: Нате, которая нежно и искренне любит Отара, семье рабочего Эльдара Алексидзе, мальчугану, продающему мацони, врачу-профессору, академику Боцадзе. Они тем более далеки от активных действий. Эти милые, добрые люди появляются в романе эпизодически и не претендуют ни на какую борьбу — это честные, но пассивные персонажи. Лишь следователь по особо важным делам Николоз Тваури (образ такой же эпизодический) где-то вселяет надежду, что в этом мире все-таки были люди, борющиеся со злом.

Говорить о соотношении противостоящих в этом романе сил не приходится. У меня нет желания упрекнуть автора в несоблюдении пропорций контрастных красок. Нельзя требовать от писателя заранее распределенных света и теней. Главное не то, что отражает писатель — положительное или отрицательное, главное — его позиция, цель, пафос, а затем уже чутье, способность, мастерство должны подсказать ему, каким образом выразить главную тенденцию изображаемой эпохи, чтобы в созданной им художественной правде не была не только не обогнана, но даже незначительно не ущемлена жизненная правда.

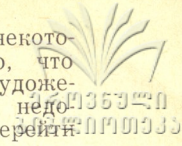
После этого беглого, возможно, и не такого уже обязательного пояснения можно сказать, что Гурам Панджикидзе в романе «Камень драгоценный» явно увлечен так называемыми отрицательными персонажами, которых он беспощадно, безжалостно разоблачает. Он охотно вводит их в развитие действия, не жалеет густых красок для их обрисовки. Но вместе с тем возникает естественный вопрос: смог ли писатель наделить их всех живыми чертами, выпукло обрисовать их, дать завершенные художественные портреты? И да, и нет.

Отдельные персонажи — Нико Какабадзе, Давид Тавишвили, Мирян Алабидзе, Арчил и Манана Гавашели, Магда Брегвадзе обрисованы с большой художественной достоверностью и не вызывают у читателя недоверия: это живые, полнокровные характеры. Но того же не скажешь обо всех героях романа. Некоторых мы воспринимаем только по воспоминаниям Тамаза (например, мать и брат Тамаза), и поэтому они расплывчатые, нечетко очерченны. В отдельных эпизодах знакомимся с персонажами только через характеристику других героев; мы смотрим, например, на Мзию Ахобадзе, Нану Абесадзе и Гиви Джоллия глазами Отара Нижарадзе; из его рассказов мы узнаем об их участии в том или ином событии. И хотя относимся к нему с доверием, хотелось бы непосредственно проследить за их поступками, за движениями их души, за выявлением определенных черт их характера. Произведение от этого только выиграло бы.

Следует отметить, что Гурам Панджикидзе не любит прибегать к широкому эпическому повествованию, в стихии которого писатель обретает разительную долю для подробного объяснения поступков героев, углубленного раскрытия их характеров. Его больше привлекает форма современного романа (принято считать одним из основных признаков современного романа его компактность — в данном случае не будем оспаривать это положение). Но современный роман не только компактен, для него характерно и очень точно сконцентрированное внимание. Он не перенасыщен действующими лицами и не перегружен сюжетными линиями, поскольку на полотне малого формата нет возможности с необходимой полнотой художественно обрисовать образы и жизнь персонажей. Гурам Панджикидзе задался целью совместить эти две трудно совместимые вещи: в небольшом по объему произведении показать много характеров, решить много проблем. В поисках выхода из трудного положения он иногда невольно обращается к способу, который, если учесть его стиль, сам не приемлет. В некоторых случаях им использован не самый удачный метод — прямая характеристика.

Но справедливости ради следует подчеркнуть, что писатель прибегает к этой необходимости лишь в отдельных случаях, иначе «Камень драгоценный» не был бы признан одним из лучших произведений современной грузинской прозы. Там, где он повествует о любви Отара и Наты, обрисовывает взаимоотношения Мананы Гавашели и Отара, описывает вечер, проведенный Тамазом, Отаром и Магдой, или сцену в буфете у дяди Гриши и многое другое, соблюден уровень добротного современного произведения, сложные характеристики героев даны в простых ситуациях и скупых диалогах. Очень точно обрисован образ заведующего кафедрой математики Нико Какабадзе. Мы имеем возможность непосредственно наблюдать его проявления в различной обстановке — на службе, в семье, можем проследить, как маскирует он за респектабельной внешностью свое эгоистическое нутро, честолюбие, затхлую душу. К сожалению, автору не всегда удается оставаться на такой высоте.

Иногда писатель предваряет знакомство с героем своей характеристикой, порою же просто перечисляет собственные ему черты. Зачем нужна была писательская характеристика профессору Тавишвили, если в романе есть живо, мастерски написанный эпизод, когда он, выполняя поручение заведующего кафедрой Нико Какабадзе, извлекается от Тамаза Яшвили — талантливого, но неудобного сотрудника — и в котором очевидно раскроются все его качества?



Мы с самого же начала знаем, что главный редактор Мириан Алавидзе всегда работал на руководящих должностях и, наконец, к своему собственному изумлению, очутился на студии, и из авторской характеристики ясно, что Мириан Алавидзе на студии человек случайный. Все, что впоследствии рассказано автором в подтверждение этого, уже ничего нового к образу не добавляет, просто демонстрирует то, что нам уже знакомо. Писатель крайне многословен и прямолинеен, когда представляет отца Тамаза — Григола Яшвили и профессора Ясе Дидидзе.

Кроме того, образы отрицательных героев слишком утрированы. Персонажи, на которых писатель обрушил свой разоблачительный пафос, кажутся нам предельно низкими и глупыми, их поступками движет безрассудство и невежество. Поэтому иногда возникает впечатление, будто мы имеем дело не столько с произведением социального и психологического характера, сколько сатирического. Видимо, такая прямолинейность и утрирование породили у некоторых читателей ощущение неполноценности произведения, в котором они усмотрели лишь голую публицистику, не подкрепленную глубоким художественным осмыслением образов.

О том, что роман публицистичен, спорить не приходится. Это прежде всего продиктовано актуальностью поднятых проблем, неприкрытой тенденциозностью и обличительным пафосом. Гурам Панджикидзе захотел вставить в роман куда больше конфликтов, чем позволял объем романа. Ведь достаточно было одного конфликта Тамаза Яшвили с завдующим и членами кафедры института, чтобы построить на нем концепцию всего художественного произведения. Мы окунаемся в воцарившуюся на кафедре псевдонаучную атмосферу, когда честолюбие само собой порождает подхалимство, когда бездарность сковывает научную мысль, а карьеризм толкает на поиски легких путей в науке.

Второй герой романа — Отар Нижарадзе тоже вводит нас в окружающую его обстановку; и здесь поднята большая проблема: в творческой организации мы не ощущаем именно творческой атмосферы, тут тоже господствуют случайные люди, далекие от истинного назначения художественной студии. Все это дает много материала для раздумий, обобщений, выводов. В романе этому посвящен целый ряд интересо, с большим вкусом и мастерством написанных эпизодов. Вот в кабинете Мириана Алавидзе идет разбор сценариев для будущих фильмов, и мы становимся свидетелями того, как по ходу дела обнажаются косность и невежество руководителей и инертность сотрудников. И все

же нас не покидает ощущение некоторой неудовлетворенности оттого, что проблема, не получив глубокой художественной разработки, скомкана, недосказана, а автор уже спешит перейти к другим наиболее важным вопросам.

Возмущение вызывает разыгрывающаяся в ресторане сцена, в которой участвуют преисполненные чувства превосходства над всеми дельцы, обладающие несметными суммами легко добытых нечестным путем денег. Писатель беспощаден к ним, и мы невольно испытываем вину за то, что эти подонки действуют открыто и вольготно себя чувствуют среди нас. И в этом большая заслуга Гурама Панджикидзе. Он заостряет свое внимание и на других отрицательных явлениях. Отар Нижарадзе случайно станет свидетелем того, как молодой человек превратится в жертву пьяных автолихачей, а честная, скромная семья рабочего человека безжалостно лишится кормильца. Цинизм же этих преступников, их самоуверенность и подлость основываются на глубоком убеждении, что за деньги можно купить все. И нас глубоко волнует возмущенный голос писателя.

В романе обозначено много злободневных тем и вопросов. Герои его часто размышляют о смысле жизни и назначении человека, о лжи и правде, о порядочности и нечестности, о творческом воздействии богатства на человека. И когда к этим вопросам обращается писатель, обладающий таким горячим сердцем и такой непримиримостью к несправедливости, как Гурам Панджикидзе, произведение приобретает высокое публицистическое и художественное звучание. Вместе с тем иногда остается впечатление, будто писатель хочет как можно скорее и громче высказать накопившееся возмущение, боль, которая охватила сердце человека, безгранично любящего свой народ. И эта поспешность сказывается на художественной разработке отдельных образов и эпизодов. Но я думаю, что этот недостаток вполне компенсируется высоким публицистическим пафосом и гражданским накалом «Камня драгоценного».

Выше отмечалось, что в романе два главных героя — Тамаз Яшвили и Отар Нижарадзе, противопоставленные той среде, которую писатель так блестяще и гневно разоблачил. Понятно, что жизненные и моральные принципы Тамаза Яшвили и Отара Нижарадзе представляются нам особенно интересными. Оба героя резко отличаются душевным складом, темпераментом, характерами, но оба они преисполнены доброты и порядочности, не говоря уже об одаренности. Они вовсе не одинаково реагируют на проявление зла и несправедливости, поскольку отличаются друг от друга темпераментом, внутренней силой, спо-

способностью бороться, и вместе с тем почти примирились с мыслью о невозможности что-либо изменить. Они прекрасно видят выпирающее зло, правильно оценивают происходящее, и поэтому Тамаз стремится жить обособленно, замкнуто, Отар же хотя и умеет постоять за друга, но в основном скептически относится к жизни и к окружающим, ирония — его маска. Вот показательный диалог между Отаром и Тамазом:

«— Видел ли ты когда-нибудь лягушку, вскочившую на единственный лист в середине болота и беспрерывно квакающую?»

— Видел, — с улыбкой кивнул Тамаз.

— Так чего же ты меня мучаешь? Ведь сколько бы ни квакала та лягушка, она в конце концов прыгнет обратно в болото».

К сожалению, Отару Нижарадзе и еще более Тамазу Яшвили недостает того желания бороться, ревностно отстаивать собственные принципы, неукротимого стремления к достижению цели, той жажды действия, которые характеризуют сильную личность. Но тогда мы имели бы дело с совсем другими героями и потому не предъявляем таких претензий ни к ним, ни к автору, ибо понимаем, что в этом романе на них возложена совсем иная функция, и мы должны оценить их в соответствии с замыслом автора.

Возможно, скромность, мягкость, покорность Тамаза Яшвили именно потому так подчеркивал писателем, чтобы еще больше оттенить всю жестокость несправедливости и разбудить в читателе горячую потребность активной поддержки, добра и добродетели. Тамаз жаждал насыщенной жизни, дней светлых, наполненных большими открытиями. Весь свой пыл и усердие, дни и ночи в течение многих месяцев он мог отдавать решению какой-либо математической проблемы, но не в силах был постичь самой главной жизненной необходимости — необходимости бороться. При первом же противодействии он складывает оружие, первое же препятствие вызывает в нем ощущение безнадежности.

Характер Тамаза показан в развитии; мы наблюдаем за ним в детстве, когда члены семьи, одноклассники, не понимая его, подавляли лучшие проявления его нежной детской души. Будучи взрослым, он так же не может постоять за свои убеждения, молодой ученый раздражает своей добродетельностью и порядочностью мерзавцев, вроде Какабадзе, которому ничего не стоит столкнуть его с дороги только за то, что он всегда скажет правду, не скроет ничего дурного или не поставит студенту по знакомству незаслуженную оценку. Тамазу Яшвили недостает

сил противостоять несправедливости. Поэтому он все время нуждается в поддержке друга более уверенного, и сильного, на которого можно опереться. Таким другом еще со школьной скамьи был для него Отар Нижарадзе.

Тамаз жаждет покоя, замкнутости, возможности углубиться в любимое дело. Во имя этого он поселяется в уютной комнатке в старом доме и остается один на один с колонками цифр, которые постоянно будоражат его воображение. Ничто, кроме математики, его не занимает. Иногда даже кажется навязчивым постоянное обращение к математическим формулам и колонкам цифр, в воображении Тамаза скользящим, летящим, мерцающим, как стая птиц в голубом небе, и подчеркивающим его фанатическую преданность науке. Даже в трудные минуты жизни, сознавая необходимость своего ухода из института, Тамаз спокойно, прислушиваясь к далекой музыке, продолжает вникать в смысл решенной на доске задачи, хотя до его сознания великолепно доходило все высказанное профессором Давидом Тавишвили. Перед уходом Тамаз исправляет ошибку в решенной на доске задаче. Это интересная деталь, точно найденная писателем. И это не поза, это сущность натуры Тамаза — его раздражает любая математическая неточность. Тамаз Яшвили действительно личность незаурядная, которая больше других нуждается в чистом, доброжелательном отношении, искренней любви, сочувствии, ободрении, поскольку только в состоянии душевного равновесия и спокойствия он может реализовать свое призвание.

Психологически оправдан и любопытен с художественной и эмоциональной стороны эпизод, когда Тамаз Яшвили, захваченный большим чувством к Медине Замбахидзе, именно в ту счастливую ночь найдет способ решения сложнейшей математической проблемы. Именно такое состояние необходимо Тамазу для счастья. Но обрести подобное состояние ему удастся только раз в жизни.

Не было покоя в детстве, когда из-за Медины Замбахидзе он переходит в другую школу. Затем, никем не понятый, Тамаз вынужден бежать из семьи. Изгнанный из одного института, он преследуем в другом душевно больным сотрудником. Вокруг него одни лишь недоразумения — люди утратили совесть, все святое и доброе, что свойственно человеческой натуре. И в заключение — внезапное появление Медины и столь же внезапная жестокая измена.

Тамаз Яшвили нужен был автору именно таким, чтобы показать читателю, как гибелен холод бездушного отношения для таких чистых и тонких на-

тур, как Тамаз. После измены Медеи Тамаз пытается покончить с собой. Было ли это только следствием аффекта? Перед тем как принять это решение, он задумывается: «Быть может, это только вспышка самолюбивого человека, оскорбленного изменой жены? Послушаться бы вовремя Отара Нижарадзе, не терять головы из-за Медеи, и мысль о самоубийстве не появилась бы даже. Или это итог беспомощности, сознания, что не выгнать в жизни, а Медею лишней раз убедил в несостоятельности, только ускорила ход событий и поторопила принять это решение. Так и только так».

Невозможно не поверить этой исповеди Тамаза.

Но давайте выслушаем Отара Нижарадзе в финале романа: «Тамаз, дорогой, мы ведь еще ничего не создали, чтобы обидеться на весь мир, и кичиться нам нечем, чтобы лезть в петлю, даже если она из нейлона лучшего качества. Прости, что я говорю слишком плакотно, как лектор с трибуны сельского клуба, но я должен напомнить, что каждый человек обязан сделать для своего народа, своей страны то, что в его силах... Мы теперь уедем на две недели, отключимся от всего, отдохнем и, когда улягутся страсти, начнем совершенно новую жизнь. Мы должны много работать, очень много, время не терпит. Тот, кто может что-то сделать, в нашем возрасте уже сказал свое слово».

И становится совершенно ясно, что, придя после теории «квакающей лягушки» к этому выводу, он многое испытал и пересмотрел собственные концепции.

Отар Нижарадзе обнаруживает куда большую силу духа, чем его друг.

Его оружие — ирония и цинизм, ими он маскирует свои большие чистые чувства. Он способен откровенно издеваться над глупостью и ограниченностью людей, с которыми ему приходится сталкиваться, но он не бежит подобно Тамазу Яшвили от общества, не стремится к одиночеству; наоборот, с интересом наблюдает за людьми и потому не тяготеет никаким обществом. И хотя духовно, кроме Наты и Тамаза, ему никто не близок, он всегда среди людей. Поэтому ему часто приходится сталкиваться со всяческими соблазнами, но благодаря глубокой порядочности он всегда их преодолевает.

В дружбе он предан и искренен, и именно в этих взаимоотношениях сполна раскрываются обаяние и человеческая теплота его природы. Доброта его проявляется в отношении к мальчугану, продающему мацони; невысказанным сочувствием проникнуто его отношение к жене и детям человека, ставшего виновной жертвой распущенных дельцов.

У Отара достаточно физических и духовных сил, чтобы противостоять злу, но впервые он прибегает к этому, когда этого потребовали интересы друга. Собственно, он и делает это только во имя защиты друга, а не во имя борьбы с самим злом. Когда же он достигает цели, тотчас же теряет интерес к борьбе, и потому мы отнюдь не убеждены в его высокой гражданской сознательности.

Только страшная, неизлечимая болезнь заставит Отара Нижарадзе серьезно задуматься над прожитым. Его не пугает приближающаяся смерть, но он угнетен и подавлен тем, что еще ничего не успел сделать и не жил так, как должен был жить. Отар понял, что ирония и цинизм — это еще не то средство, благодаря которому человек может чего-то достичь. Он отыскивает свой начатый когда-то и брошенный роман. Им движет теперь одно желание — максимально использовать то короткое время, которое отпущено ему жизнью, чтобы успеть сказать свое слово.

Отар Нижарадзе меняет философию своей жизни. Его слова о начале новой жизни относятся не только к Тамазу, но и к нему самому, и финал романа обнадеживает началом новой жизни этих двух полюбившихся читателю друзей.

Сюжет в романе «Камень драгоценный» прост. Правда, события развиваются не всегда в строгой последовательности и автор часто возвращается к тому, что уже произошло, чтобы проанализировать случившееся, или прибегает к воспоминаниям. Но во всем этом нет претензии, все предельно ясно, легко воспринимается.

Следует отметить еще одну особенность этого романа: он не является произведением, написанным в одном стиле, проникнутым единым настроением. Автор на протяжении всего повествования бывает то доброжелательным, то холодным и ироничным, то полным сочувствия, то беспощадным и непримиримым. И это естественно, ибо так проявляется его отношение к героям и событиям. Но здесь намечаются и другие контрасты: в своем, в целом реалистическом подходе к фактам он бывает и лиричен, и страстен, и публицистичен, а порою даже натуралистичен, нередко прибегает к символическому. Но при всем том мы постоянно ощущаем чувство меры в использовании этих нюансов, поскольку продиктовано это той или иной необходимостью, и автор никогда не позволяет себе явных эклектических вольностей.

К натурализму писатель прибегает, когда обращается к изображению затхой мецанской обстановки, в которой вращаются дельцы. Он пишет их портреты как бы с природы, чтобы еще больше



обнажить их уродство. Мы видим их холодные и ненасытные глаза, в которых нет даже проблеска мысли и чувства, искаженные дикими страстями лица. Он показывает, как неопратно они едят, до бесчувствия напиваются и бродят с расстегнутыми брюками по двору ресторана. Этот натуралистический штрих делает их еще более отвратительными, вызывает чувство гадливости.

Но вот Г. Панджикидзе хочет раскрыть чистоту и поэтичность души Тамаза Яшвили, его переживания и трагедию. И тут прежде всего символичен своей необычностью дом, в котором живет Тамаз; он напоминает какую-то «тайную пещеру»; тяжелая дубовая дверь открывается с мелодичным, сказочным звоном неестественно большим ключом. И хотя во дворе весной пышно цветет сирень, соседи с трепетом обходят этот дом. Когда-то его хозяин здесь повесился. Жилец, вошедший в этот дом после него, поступил точно так же, и уже никто, кроме Тамаза Яшвили, не рисковал здесь поселиться. Этим писатель будто хочет предопределить судьбу мягкого и добродетельного молодого человека. Соседи с ужасом смотрели на Тамаза Яшвили, «... будто чего-то ждали. Не понимали чего, но чувствовали, что должно что-то произойти».

Автор с самого же начала создает настроение роковой обреченности вокруг Тамаза Яшвили и все время держит читателя в страхе за его участь. С первым несчастьем, которое обрушится на Тамаза, совпадает и первое видение, которое охватит его душу: будто в знак протеста против несправедливого испытания большая и яркая луна приблизится к земле, остановится время, замолкнут часы, луну поглотит пасть черной тучи и в наступившей тьме

прозвучат шаги кого-то невидимого. В ботинках, подбитых железными подковами. Страшный незнакомец с опухшим, покрытым красными пятнами лицом и редкими почерневшими зубами, ядовито усмехнувшись, таинственно скажет Тамазу: «Испугался, не правда ли?... Это потому, что мы, люди, не доверяем друг другу».

Мистика? Нет, это все не выходит за рамки реального.

Тамазу Яшвили долго не будет давать покоя это видение. И роковые события будто начинают преследовать его именно после этого. Такая же картина повторится и в ночь, когда Тамаз встречается с Медеей Замбахидзе, и этим автор уже как бы обозначил ожидание предстоящего несчастья. Когда измена Медеи повлечет за собой решение Тамаза покончить с собой, снова у остановившихся часов появится тот же незнакомец с редкими почерневшими зубами и поведает ему, что дом этот раньше принадлежал его отцу и здесь, в этом проклятом доме, он и повесится.

Все эти детали привлечены для создания определенного настроения, и автор, безусловно, достигает нужного эффекта. А это свидетельствует об умении пользоваться самыми различными художественными приемами.

Романом «Камень драгоценный» Гурам Панджикидзе взял еще одну высоту. Но это еще не предел. Как я уже отмечал, Гураму Панджикидзе свойственно по возвращении из каждого путешествия задумываться над новыми маршрутами. Так же и по окончании каждого художественного произведения, как он сам признавался, им владеют уже новые замыслы. Безусловно, его ждут новые высоты, и мы верим, что он преодолет их не менее успешно.

Вахтанг КУПРАВА

РОЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Интенсивное вторжение по всем каналам эстрадно-джазовых мелодий поставило под угрозу существование грузинской народной песни.

Не секрет, что определенная часть нашей молодежи теряет вкус к ней, тем более что народные песни, безусловно, сложны для исполнения. Предпочтение отдается пустым, легко усваиваемым мелодиям, заимствованным у Запада. Особенно ощутимо увлечение эстрадно-джазовыми мелодиями у городского населения (а оно, как известно, на данном этапе превалирует над сельским), которое в значительной степени начинает забывать народную песню.

Почти во всех высших учебных заведениях Тбилиси, а также других городов Грузии «успешно» функционируют именно эстрадные оркестры, а в таком крупном институте, как Грузинский политехнический, эстрадные оркестры есть даже на каждом факультете. Они проникают также в сельские клубы и дома культуры, несмотря на то, что им приходится преодолевать немало препятствий со стороны Министерства культуры и других органов.

Подобные явления, правда, в меньшей степени, дают о себе знать и в народном танцевальном искусстве. Я коснулся их лишь в связи с тем, что в последние годы со всей остротой встает проблема — какова роль самодеятельного искусства в современных условиях и каковы перспективы его развития?

Ни в коей мере не претендуя на исчерпывающий ответ, говоря об этом лишь в порядке постановки вопроса, поскольку он явно назрел.

Как известно, всякое общественное явление имеет свою социальную функцию. Социальная функция самодеятельного искусства во все времена была очень значима и подчинялась следующим задачам: облегчить труд человека, развлекать людей, украшать быт наро-

да, сохранять и передавать новым поколениям все лучшее, созданное их предшественниками.

Все эти функции делали самодеятельное искусство жизненно необходимым для каждого народа до наших дней.

В наше время, в эпоху грандиозных перемен во всех областях жизни, в эпоху научно-технической революции, последствия которой пока еще трудно предугадать, самодеятельное искусство, на мой взгляд, в значительной степени теряет свою социальную функцию.

Постараюсь изложить мои суждения по этой проблеме применительно к названным выше задачам самодеятельного искусства.

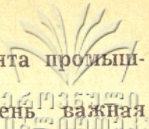
Сознательно или подсознательно первой и самой значительной его функцией в былые времена являлось облегчение труда человека. Многие трудовые песни, например, своей мелодией и ритмом, несомненно, облегчали тяжелый крестьянский труд. Потому и исполнялись они во время работы. То же самое можно сказать о ряде танцев, движения которых как бы приспособливали людей к трудовым процессам.

В наше время эта функция самодеятельного искусства улавливается еле заметно и можно даже сказать утрачена, ибо на помощь человеку в его труде пришла техника.

Вторая и, пожалуй, не менее важная социальная функция самодеятельного искусства для всех времен и народов заключалась в развлечении людей.

Народ, подавляющую часть которого составляли крестьяне — земледельцы и скотоводы, на протяжении тысячелетий развлекал себя сам, создавая песни и танцы, выдумывая сказки и стихи. Так было у всех народов до недавнего времени, так обстоит дело у некоторых отсталых народов по сей день.

Теперь же с этой целью используются все основные достижения науки и техни-



жи. Мощнейшая система телевидения и радио способна превратить любого человека в слушателя или зрителя. Кроме того, существует обширнейшая сеть кино-театров, театров и других учреждений, предназначенных для развлечения людей. Их культурному отдыху и развлечению служат (конечно, помимо своих основных целей) миллионные тиражи книг, журналов и газет. Без преувеличения можно сказать, что даже сейчас на каждого обитателя земли ежедневно приходится хотя бы один экземпляр печатной продукции.

Охват населения средствами развлечения возрастает темпами, достойными нашей эпохи, и думается, недалеко то время, когда будут полностью удовлетворены потребности всех жителей любой страны в развлечении.

Итак, самодеятельное искусство, возникшее тысячелетия назад, к концу XX века, как мне кажется, теряет свою главную социальную функцию.

Третья функция самодеятельного искусства — украшать быт народа. На протяжении веков народные умельцы вносили красоту в бедняцкие хижинки. Они делали приятными для глаза самые простые обиходные вещи. Это радовало трудовой народ, скрашивало в какой-то мере его беспросветную жизнь.

В наше время и особенно в нашей стране и эта функция самодеятельного прикладного искусства в значительной мере ослаблена в силу неуклонной профессионализации этого дела. Изготовлением предметов нашего обихода, укра-

шающих быт человека, занята промышленность.

Четвертая и также очень важная функция самодеятельного искусства заключалась в том, чтобы передавать из поколения в поколение созданные коллективным творчеством лучшие произведения музыки, хореографии или поэзии. В былые времена эта функция была очень важной, ибо другого способа сохранения народной сокровищницы просто не существовало из-за невозможности записать не только музыкальные произведения, но и образцы устного творчества.

В наш век, как известно, существует уйма способов записи и вообще сохранения любых произведений и предметов искусства, и поэтому отпадает необходимость в усилиях людей, передающих сложные творения из одного поколения в другое.

Означает ли сказанное, что в настоящее время или в ближайшее будущее упадет потребность общества в самодеятельном искусстве вообще? Конечно, нет. Однако, на мой взгляд, его назначение во многом стало иным, чем прежде. В связи с этим, надо полагать, было бы полезно заняться серьезным исследованием потребности общества в деятельности коллективов художественной самодеятельности, выставить на широкое обсуждение научно обоснованные предложения и выводы о желательных и целесообразных масштабах распространения различных видов самодеятельного искусства в современных условиях.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Как известно, на XXIV съезде КПСС отмечался огромный размах самодеятельного искусства в Стране Советов, выражающий характер нашего общественного строя, способствующего развитию социалистической культуры. Но о роли и значении самодеятельного искусства в современных условиях в последнее время высказано немало суждений. Причем ряд мнений по этому поводу носит явно противоречивый характер. Полемически заостренная, спорная статья заместителя министра культуры Грузинской ССР тов. В. Куправа отражает отношение к данной проблеме определенного круга лиц. Поскольку же вопрос о назначении, целях, характере, социальной функции самодеятельного искусства в современных условиях имеет большое общественно-политическое звучание, редакция журнала «Литературная Грузия» нашла возможным опубликовать статью В. Куправа в порядке обсуждения с целью привлечь внимание работников идеологического фронта к поднятым в ней положениям.



ЛУЧШЕМУ ПОЭТУ ЭПОХИ...

В связи с празднованием 80-летия со дня рождения В. В. Маяковского в Грузии корреспондент нашего журнала обратился к председателю республиканского юбилейного комитета секретарю ЦК КП Грузии Виктории Моисеевне Сирадзе с просьбой рассказать о проведении юбилейных торжеств в нашей республике.

Вопрос: — Приближается знаменательная для советской литературы дата — восьмидесятилетие со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского. Что вы, Викторья Моисеевна, можете сказать как председатель юбилейного комитета по этому поводу?

Ответ: — Имя Маяковского, все его творчество бесконечно дороги нам, его современникам и потомкам. Силу творчества великого поэта и влияние его на советскую и зарубежную поэзию трудно переоценить.

Очень точно охарактеризовал значение В. Маяковского для всей советской и мировой поэзии замечательный советский поэт Н. С. Тихонов в своей недавно написанной статье «Глашатай революции». Приведу выдержку из нее: «И сейчас В. Маяковский в свое восьмидесятилетие предстает перед нами, любимый родным народом, любимый другими народами, вождь революционных поэтов всей планеты, самый молодой, которого не обогнал никто из молодежи, самый классический поэт советской поэзии, лучший, талантливейший поэт эпохи, заключающий в своем творчестве строки о прошлом, настоящем и будущем мира».

Вопрос: — Какой отпечаток накладывает на проведение торжеств в Грузии тот факт, что великий поэт — наш земляк?

Ответ: — Как известно, Маяковский родился в Грузии, в селении Багдади. В Кутаиси провел он свои школьные годы. Здесь, в Грузии, под влиянием большой пропагандистской работы, которая велась большевистскими организациями Грузии, формировались его мировоззрение, политическая направленность взглядов. Сам В. Маяковский называл Грузию своей родиной. Вот почему для нашей республики юбилей великого поэта — такой большой праздник, и на нашей земле он будет отмечаться так широко.

Вопрос: — Как же конкретно будет этот юбилей отмечаться у нас?

Ответ: — Уже активно работает республиканский юбилейный комитет, в составе которого видные грузинские литераторы, деятели науки и искусства, партийные и советские работники.

В большой и разносторонней программе проведения юбилея много интересных мероприятий.

Институтом истории грузинской литературы имени Ш. Руставели проводится научная сессия, посвященная творчеству В. Маяковского. На ней будут прочитаны следующие доклады: «Живой Маяковский» (докладчик Бесо Жгенти), «Маяковский и Грузия» (докладчик проф. Г. Цицишвили), «Новые материалы к биографии В. Маяковского» (докладчик Б. Пирадов) и другие.

В Литературном музее имени Г. Леонидзе и публичной библиотеке имени К. Маркса организуются выставки. Сейчас по всей республике, на заводах и фабриках, в колхозах, школах и вузах читаются лекции и доклады, проводятся литературные вечера о Маяковском.

В Маяковски в Доме-музее поэта обновлена и значительно дополнена экспозиция.

Популяризации творчества выдающегося поэта советской эпохи будут содействовать систематическая публикация статей и материалов о нем в республиканской прессе, специальные передачи, подготовленные нашим радио и телевидением. В эфире прозвучит цикл специальных передач: «Я в долгу перед вами, багдадские небеса», «В. Маяковский — поэт и гражданин», «В. Маяковский — певец дружбы народов», «Социалистический реализм и Маяковский». А на голубом экране телезрители просматривают серию телепередач «Новые переводы Маяковского на грузинский язык», «Родные места В. Маяковского» и «Великий поэт современности».

С 1 июля в тбилисских кинотеатрах будут демонстрироваться фильмы о жизни и творчестве Маяковского.



Театральное общество проведет конкурс чтецов на лучшее художественное исполнение стихотворений поэта.

В Кутаисском педагогическом институте предполагается учредить стипендию имени В. Маяковского. А в одном из районов Тбилиси будет заложен фундамент памятника талантливейшему поэту нашей эпохи.

Вопрос: — Не расскажете ли вы подробнее, какая литература выходит в связи с юбилеем? Это читателя нашего журнала, естественно, интересует особенно.

Ответ: — Самая большая работа по подготовке к юбилею ведется именно в издательствах.

Лучшие переводы произведений В. Маяковского на грузинский язык собраны в один большой сборник — «Избранное», выпускаемый к этим дням издательством «Сабчота Сакартвело». В него вошли переводы, сделанные нашими известными поэтами Г. Абашидзе, И. Абашидзе, В. Гаприндашвили, К. Надирадзе, Х. Бериулава, Т. Джангулашвили, а также Г. Гачечиладзе, Д. Гачечиладзе, В. Лаперашвили, М. Патаридзе, В. Джавахадзе.

В издательстве «Мерани» готовится книга «...Перед вами, багдадские небеса», которая в основном составлена из воспоминаний о связях великого советского поэта с представителями общественности Грузии, о его встречах и дружбе с грузинскими писателями, деятелями искусств, школьными товарищами.

В издательстве «Накадули» готовится к печати книга В. Лаперашвили — популярный очерк о жизни и творчестве Маяковского.

Вопрос: — Из названных Вами книг, готовящихся к юбилею, какие выйдут на русском языке?

Ответ: — Сборник воспоминаний «...Перед вами, багдадские небеса».

Здесь читатель найдет воспоминания Лео Киачели «Первое знакомство», Георгия Леонидзе «Мастер атакующих стихов», Галактиона Табидзе «В школьные годы», Николая Чачава «О Маяковском», Симона Чиковани «Незабываемые встречи», Демны Шенгелая «Он умел дружить и плачивать», Бесо Жгенти «Последние встречи с Владимиром Маяковским», Карло Каладзе «Разговор с Маяковским», Васо Канделаки «Студенты жили бедные», Нато Вачнадзе «Владимир Маяковский», Ладо Гудиашвили «Встреча в Париже». В числе авторов воспоминаний также В. Шкловский, М. Светлов, В. Каменский, С. Спасский, К. Зданевич и другие.

Большая часть этих материалов публиковалась в разные годы в журналах, газетах и книгах на грузинском и русском языках, кое-что, как, например, воспоминания народного художника СССР Ладо Гудиашвили о встрече с Маяковским в Париже в 1922 году, увидит свет впервые.

Сборнику предпослана автобиография В. В. Маяковского «Я сам». Заключает его подборка записей, впечатлений посетителей Дома-музея на родине В. В. Маяковского в бывшем селе Багдади, ныне районном центре Грузии, носящем имя поэта. Книга богато иллюстрирована.

Значение этого сборника в том, что материалы его, дополняя друг друга, помогают характеризовать разностороннюю творческую деятельность поэта. Многие факты могут представлять интерес для биографов Маяковского.

Вопрос: — Когда и какие еще мероприятия предполагаются в связи с 80-летием поэта?

Ответ: — В середине июля намечено проведение больших торжеств, в которых примут участие поэты и писатели, представители общественности всей нашей страны.

14 июля в здании Грузинской государственной филармонии состоится большой юбилейный вечер.

15 июля на родине поэта, в районном центре Маяковский, будет открыт памятник выдающемуся земляку работы скульптора Г. Кевхишвили и проведет большой народный митинг.

В тот же день празднества продолжатся в Кутаиси, где пройдет большой вечер поэзии с участием грузинских поэтов, гостей из братских республик, всех любителей поэзии В. Маяковского.

Юбилейные праздничные торжества начинаются в Грузии. Затем они пройдут по всей советской земле, потому что знамя, поднятое в поэзии Маяковским, подхвачено всей нашей советской литературой, всей литературой мира, которая держит его высоко и гордо.

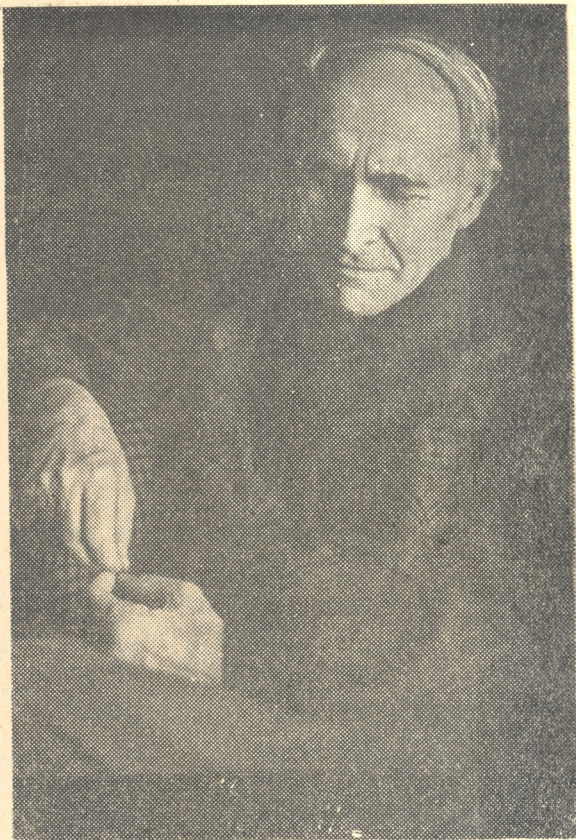
Уже семь лет как нет с нами Симона Чиковани. А мы будто только начинаем по-настоящему открывать его для себя. Многие из того, что он написал, воспринимается теперь как откровение, а отдельные его строки звучат пророчески. И в жизни, и в творчестве он был до конца честен, чист, бескомпромиссен. И потому сегодня нам особенно близок и дорог.

Все корыстное, суетное он осуждал, как поэт и как гражданин. Тонкий, умный художник и человек, Симон Чиковани был беспощаден, когда сталкивался с мещанством бытовым и интеллектуальным. Он любил красоту во всех ее проявлениях. Любил родину, человека.

Поэзия его всегда заставляет задуматься. Она обогащает. О чем бы ни были стихи Симона Чиковани, они словно просветляют, очищают, возвышают. Его стихи, как его лицо — внешне не броское, вроде ничем особым не примечательное, но такое по-человечески прекрасное, освещенное каким-то внутренним светом добра, вдохновения, мудрости... Вот перед нами его портрет. Хочется еще и еще смотреть на него, на его удивительную улыбку — мягкую, тихую, умную... И стихи его хочется читать и перечитывать, находя в них все новую игру граней бриллианта чистой воды. Да, это подлинная поэзия. И поэзия именно современная.

И ее автор — поэт советский. Но и поэт именно грузинский. И поэтому, очевидно, его так охотно, с такой любовью переводили лучшие русские поэты. Сегодня трудно представить современную грузинскую советскую поэзию без Симона. Один из ее основоположников, он был и остается наставником и учителем молодых поэтов, ведя их примером своей жизни и творчества к новым высотам поэзии, во славу человека, своей дорогой отчизны (помните его строки — «Кто выдумал: мала земля родная?...»).

В день семидесятилетия со дня рождения Симона Чиковани мы с особым чувством вспоминаем и повторяем его неувядаемые строки: «Который в мире час? Час вдохновенья...». Ибо каждый час его жизни, какой бы он ни был — светлый или горький, был для него часом вдохновения. Ведь он был поэт. И мы воспринимаем эти слова, как его завет нам, оставшимся, быть всегда поэтами своего дела.



ЗЕДАЗЕНИ

Помнишь гряду Зедазенскую тоже,
Ты, как косарь, вела нас, подруга,
Белей миздаля, апреля моложе —
Ты походила на лилию луга.

Трое влюбленных — с тобой мы бродили,
Ты вдохновляла наши усилья,
Мы, соревнуясь, про время забыли,
Всю высоту без тропинок осилив.

Арка ли света иль темные тени —
Встретил нас храм стариною такою,
Но тишину мы нашли в Зедазени,
Горным дышавшую чистым покоем,

Буков безмолвных кроны я слушал,
Леса в обрывах дремавшие сени,
Я о тебе только думал, и душу
Светом наполнил покой Зедазени.

Солнце светило в уступы косое,
Чашу туманы слегка затанули,
Будто там свадьба окончилась соек,
Все обитатели леса уснули.

Стали безмолвны все горные дали,
Лес же, как друг, замолчал в ожиданьи,
Мы ж на траве вчетвером пиروвали,
Лесу читая Гете мечтанья.

Струйки вина на траве заблестали
В арке сияющей светотени,
Точно с тобою мечтою мы стали,
Солнце, краса твоя и Зедазени!

Храм весь в потоке закатного света,
Солнцем зажженный, пылал над горою,
Снизу как будто взлетела к нам Михета,
Снова Арагви столкнулась с Курюю.

* * *

Голос твой Кура заглушит на миг,
Видишь слезы, — я плачу открыто,
Я жаждой томимый, старый старик,
Ты — родник мой и ты — Маргарита!

Если, слушай, как Фауст, ослепну я,
Ставлю крест над жизнью над всею,
Просияет мне красота твоя —
Подойдешь, я сразу прозрею.

В гору взброшу ярмо я, покорный ярму,
Дам ладоням жесткую лоз позолоту,
У дубов Мухрачи корни возьму,
Одолою Колхиды болота!

Не хочу, чтоб со мной лишь греза моя,
Будь поддержкой, за труд мне наградой,
Ты родник в горах — только старец я,
И вернуться мне в юность надо!

Перевод Николая ТИХОНОВА

НЕГАСИМОЕ ПЛАМЯ ВЫСОКОЙ ПОЭЗИИ

Есть поэты, к которым благоволит время. Это потому, что они словно вырастают в свою эпоху или, может быть, вырастают из нее. Они всегда современны. Симон Чиковани — именно такой поэт.

Сегодня ему исполнилось бы семьдесят лет. Он ушел из жизни семь лет назад, сраженный тяжелым недугом, но негибаемый духом. Прикованный к постели, он работал с юношеской энергией и до последнего вздоха стойко боролся с болезнью.

Последние стихи С. Чиковани свидетельствуют, что его талант переживал новый расцвет и мог обогатить грузинскую поэзию еще многими замечательными произведениями. Жизнь и творчество Симона Чиковани были замечательным образцом верности и большой ответственности перед своим призванием. Все, что он делал в литературе, несло на себе печать вдохновения и мастерства.

Своеобразное восприятие мира, оригинальное поэтическое мышление сразу же утвердили за Симоном Чиковани репутацию поэта, наделенного удивительным талантом. Его поэтический голос выделялся в мощном оркестре многонациональной советской поэзии, его стихи обогащали новыми красками грузинское художественное слово.

Он всегда был на переднем крае борьбы. В течение четырех десятков лет не было в нашей литературной жизни такого значительного события, в котором он не принял бы самого активного участия.

Бликие дружеские отношения с Симоном Чиковани приобщили к грузинской литературе, навсегда связали с ней ряд советских и зарубежных поэтов. Он сделал очень многое для перевода лучших образцов грузинской поэзии на языки народов СССР и мира, принимал активное участие в работе переводчиков, сотрудничал в качестве редактора и консультанта при составлении антологий грузинской поэзии и других изданий.

Эта работа натолкнула поэта на систематизированное изложение в интересных исследованиях своих взглядов на богатейшее наследие грузинской поэзии. Все эти материалы были изданы отдельной книгой, которая сразу же вызвала огромный интерес специалистов, занимающихся изучением древней и новой грузинской литературы.

Симон Чиковани всегда заботился о молодых писателях, вступивших на литературную стезю. Чутьем опытного педагога он угадывал среди начинающей молодежи талантливых и многообещающих поэтов. Относился к ним со строгой требовательностью, старался оказать помощь, одарить отеческим теплом.

Смерть Симона Чиковани — невосполнимая потеря для нашей литературы. И по сей день в нашей повседневной жизни и литературно-общественной деятельности мы ощущаем отсутствие этого большого человека, прекрасного друга и замечательного творца.

Высокоинтеллектуальный поэт и видный общественный деятель, Симон Чиковани неустанно боролся против дилетантского, непрофессионального отношения к поэзии, беспечной небрежности и безответственности, безграмотности и поисков легких путей в литературе. В этой борьбе он не знал компромиссов, и урок принципиальности, преподанный им молодым, дорог нам и сегодня.

Творчество Симона Чиковани, пронитое духом высокого патриотизма и гражданственности, — украшение новой грузинской поэзии.

«Поэзия, — писал сам С. Чиковани, — всегда является чудесным результатом непростой, напряженной, драматической встречи поэта с миром, искрой, высеченной при их столкновении... Лишь равнодушные неспособно высечь эту искру»...

Своим творчеством Симон Чиковани высек негасимое пламя высокой, благородной, возвышенной поэзии.

ПЕВЕЦ РАДОСТНОГО МИРА

Симон Чиковани — выдающийся лирический поэт современности. Мне кажется, сама природа с рождения наделила его особым ощущением — чувствовать недоступные простому смертному поэтические явления, всем существом своим проникаясь богатством и красотами радостного мира, окружающего поэта.

В самом деле, хотя родные места, наряду с цветущими предгорьями, представляли и обширные болота, но близость моря и окружающие горы владели воображением. Шум раковины рассказывал о морских тайнах, а горы звали к себе, тая песни и легенды. В родном доме свенели стихи грузинских классиков, народные песни. Род был известен большими любителями поэзии. И Симон стал достойным продолжателем рода.

Он прошел в молодости сквозь понятное увлечение «левыми» поэтическими исканиями. Временно оставив полюбившихся в юности грузинских и русских великих поэтов, Симон Чиковани вернулся к реализму, увидев жизнь такую новую, такую полную возможностей, что он не мог не удивиться ее могучему шагу, ее многообещающему будущему.

Просторы, которые манили его с детства, увлекли его в глубину гор. Он увидел глубинную Грузию, о которой только слышал. Хевсуретия приняла его в свои горячие объятия, обворожила пейзажами и легендами, окружила человеческими характерами, в которых уже отразились черты времени.

Хевсурский парень, еще недавно гордившийся кольчугой и дедовским коротким мечом и щитом, мечтал стать шофером и водить машины по дорогам, которые сменяют узкие тропы, мимо уютных, холодных домиков, затерявшихся в скалах, на месте которых вырастут светлые школы, где будут воспитывать труженики новой эпохи.

Симон Чиковани пошел пешком в легендарные долины Сванетии, увидел легчайшую пирамиду Тетнульда, суровые вершины Ушбы, но комсомолцы Ушгула, молодая комсомолка Сванетии открыли ему картины нового, что победоносно вторгалось в жизнь и преобразило самые дикие и трудные места в современные селения и приобщало людей к явлениям нового быта.

Лирик, который жил в Симоне Чиковани, получил полную свободу лирического развития. Творчество поэта приобрело не только реалистический характер и новую образность поэтических произведений, но — многообразие песенных тем и голосов. Настоящая революционность проникла в его строки, потому что действительность сама шла ему навстречу, обогащая его темы и стих богатством своего многоликого бытия.

Он получил огромную свободу поэтического движения. Воспоминание явилось для него не только как возврат к прошлому, оно стало еще острее подчеркивать ту современность, которая увлекла его своей жизненностью и образностью. Я помню, как с ним мы пришли на раскопки, ведшиеся около Мцхета. Мы стояли в древних купальнях — каменные ванны с каменными кружками, похожими на каменные грампластинки, лежащие на дне, невольно заставляли видеть картины далеких времен. Симон Чиковани говорил, как он написал стихи о прекрасной девице, прах которой был найден неподалеку, в каменной гробнице: на гробнице было написано, что она умерла двадцати двух лет и что она была невероятной прелести. И мы хорошо знали, что рядом развалины моста Помпея, у Военно-Грузинской дороги, по которой проносились машины и проходили люди, строители чудес современности. И этот мост Помпея, и красавица немислимых времен входили в сегодняшний день и неизменно удлинляли нашу жизнь, еще краше раскрывая сегодняшний день.

В другой раз в Атенском ущелье, в одном селении, он нашел огромный камень, висевший над пропастью, и рассказывал, как на этом камне в прошлые годы любили пировать местные владыки, придавая особое значение месту своего пира. А потом мы попали на колхозную свадьбу, и это веселое, шумное зрелище еще более подчеркнуло то новое, что пришло на смену пирам на камне хозяев прошлого.

Особое ощущение сдвига времен мы испытали с Сином и его чудесной Марикой, когда теплым, благоуханным вечером, при луне в Ламисканах были на месте, где в свое время горцы похитили Давида Гурамшвили, и живое воображение Симона Чиковани рисова-

до нам подробности давней драмы. Мы сидели в гостях у председателя местного колхоза, и прошлое входило к нам на ужин так естественно, как будто Гурамшвили присутствовал с нами на общей беседе. И когда вы читаете прекрасную поэму, созданную Симоном Чиковани, то невольно отдаете должное всепокоряющему стиху поэта, проникшему за грань времен, и в то же время чувствуете, какие новые чувства несет эта поэма в среду народов Кавказа, где кончены междоусобные брани и дружба народов одинаково ценится и в Дагестане, и в Грузии.

Недаром поэт назвал свою книгу 1941 года — «Я из дому вышел на дорогу Родины». В этой книге зазвучали вместе и личные темы, и темы родины и всего мира, невольно вовлеченные в общий круг.

Поэт посетил Украину, Армению, и эти новые темы расширили еще более поэтические просторы, как и стихи о заграничной поездке, скажем в Польшу, где Варшава и Краков и Вроцлав гостеприимно приняли дорогого гостя, и он глубоко проникся их историческим содержанием, их многотрудной судьбой. Тут опять прошлое и настоящее дали новое направление лирическому вдохновению поэта.

Поэт посетил и ГДР, где тоже много сказал ему быт людей, строивших демократическую жизнь на месте страшного фашистского ада. Симон Чиковани много странствовал по родной стране, по братским республикам, и эти дружеские поездки находили свое отражение в великолепных стихах.

Если мы будем сейчас перечитывать томики любимого поэта, то увидим и почувствуем всю сложную гамму его переживаний. Мы подпадем под очарование его лирики от любовного нежного привета до вдохновенного возгласа о том, «кто выдумал: мала земля родная?».

Мы пройдем по дорогам, пройденным поэтом, и, обратившись к нему, читая его стихи, скажем о том, что всегда будут читаться его строки благодарными потомками, что всегда, как мы вспомним его, —

Запоет, зазвонит твое слово,
Как в былые, большие года,
И по голосу будем мы снова
Узнавать, где прошел и когда!

Так очарованный странник радостно-го мира очаровал нас своим неповторимым стихом, который будет жить во многих поколениях, не зная границ, не подвергаясь забвению!

Серго КЛДИАШВИЛИ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ...

Нелегко писать о последних годах жизни Симона Чиковани, но в то же время я чувствую необходимость сделать это, потому что именно тогда, на мой взгляд, наиболее ярко проявились черты, присущие Симонову — поэту и человеку. В эту последнюю пору своей жизни он потерял зрение. Это тяжелая травма не только физическая, но и душевная для любого человека. Для писателя же, еще бодрого, не утратившего способности и мыслить и желания трудиться, это настоящая катастрофа.

Симон переживал тяжелую драму, но все же не терял надежды, что наступит день, придет та долгожданная минута, когда он вновь увидит свет и со своего балкона сможет снова любоваться склонами гор, лицами друзей, опять возьмет в руки рукописи, разбросанные на письменном столе, перелистает знакомые

книги.

Может быть, он потому так часто проверял себя: растопырив пальцы, скокойно, не торопясь, проводил рукой перед глазами. Возможно, в эту минуту в памяти всплывали знакомые краски, и он пытался понять, что же это было? Неужели исполнилось заветное желание или это только сновидение?

Я уважал Симона Чиковани, ценил его как поэта и мыслителя, но особенную душевную теплоту к нему почувствовал тогда, когда с ним случилась эта беда.

Заметил также, что у Симона появились какие-то новые черты характера, на редкость добрые и светлые. Когда я смотрел на него и слушал его, мне ка-

залось, что он начал новую жизнь, не знакомую мне и другим.

По сравнению с прежними годами, он стал намного спокойнее и, казалось, даже был доволен тем, что открылось ему... Именно этим объясняется его поразительное спокойствие, его примиренность со случившимся и та удивительная тяга к общению, та душевная щедрость, которая проявлялась в его отношениях с людьми. Вот таким стал Симон, которого раньше все знали, как беспокойного и неутомимого человека.

Симон Чиковани любил людей, и ему отвечали тем же. Квартира его всегда была полна друзей — тбилисских и приезжих. И почти всегда встречи у него превращались в своеобразные литературные вечера. Увлеченные беседой, гости лишь далеко за полночь вспоминали, что пора покидать гостеприимный дом. Время здесь проходило незаметно, потому что о нем не вспоминали здесь ни гости, ни хозяева.

Симон Чиковани не относился к числу тех поэтов, которые пишут стихи легко, одним дыханием. Да и не верьте, что стихи рождаются без труда, не доверяйте тому, что создано в мгновение ока... Пересмотрите рукописи Пушкина, Акакия Церетели и других писателей, и вы увидите, сколько им приходилось работать над той или иной строфой. Может, потому несколько болезненно любил Симон плоды своего труда. Любил так, как мать своего первенца. Новое стихотворение он охотно читал друзьям, порой и гостям, если они были любителями поэзии.

Беседуя, Симон — я имею в виду его в последние годы — преобразался, и

окружающие забывали, что перед ними человек, который не видит. Неужели этот человек, так горячо рассказывающий о картинах Пироманишвили, Ладо Гудиашвили, Давида Какабадзе, о работах русских и французских художников, о чудесах, сотворенных краской и мастерством, живет лишь в мире звуков и вечной ночи? Этого не может быть!

И действительно, во время беседы на вас смотрели живые глаза. Они улыбались, удивлялись, выражали грусть, печаль, радость...

Но какой же жизнью жили они? С юношеской поры сберегли эти глаза в тайном хранилище многое из тех богатств, которыми славится мир. Сберегли его природу, блеск солнца, краски, рожденные природой, и не менее прекрасные краски, созданные талантом человека. Эти глаза сохранили те книги и страницы из них, которые приносили поэту величайшую радость. И все это жило в памяти.

В эти годы Симон не прекращал литературной работы. Спросите, как он работал? Конечно, с огромным трудом. Потому что диктовать свое произведение для писателя — значит обманывать самого себя. Это настоящая пытка. И Симону пришлось бы нелегко, не будь рядом с ним Марики, его верного друга. Сама тяжело больная, она проявляла необычайную силу воли и всеми силами старалась помочь ему, облегчить его страдания. Во многом благодаря этой удивительной женщине он сумел в последние годы создать немало нового и прекрасного.

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОЭТА - ДРУГА

В мае текущего года нашему другу, товарищу, соратнику на многих жизненных перепутьях, замечательному поэту Симону Чиковани исполнилось бы семьдесят лет. А между тем вот уже семь лет прошло, как его нет среди живых. Смерть его была трагически безвременной смертью. Он умирал долго и мучительно.

И должно было так случиться — в этом проклятая ирония жизни! — что именно этот поэт, самый зрячий, самый пронзительно прозорливый из всех советских поэтов, постепенно терял зрение, пока совсем не ослеп. Умирал он слепцом.

И тут произошло поистине чудо! Иначе не скажешь. Стихи, сочиненные слепцом и записанные под его диктовку его женой и возлюбленной Марикой Чиковани, говорят о том, что слепец видел. Да, да, — это было именно так! Они обращены к любимой с юности и навечно. Поэт вспоминает их общую молодость, их сближение; их встречи на памятных обим перекрестках тбилисских улиц, под

отвесными лучами яркого солнца. Все для слепого страдальца осталось перво-
зданно ярким и свежим, как первая любовь. Но сказать «видит» — мало! Он ви-
дит прошлое **другим** зреньем, которое еще зорче и достовернее, нежели бывало,
когда хрусталик не был замутнен и на сетчатой оболочке отчетливо был напе-
чатан образ любимой.

Слепец продолжает свое вечное дело — так же точно, как в годы зрелого
мастерства:

В смарагды моря падают сапфиры,
Как будто ночь блаженной вязью слез
Связала сноп из всех сокровищ мира...

(Перевод Б. Пастернака)

Как это празднично и богато! Так не было для нас — может быть, с тех пор, как кончилась наша юность, или еще раньше — с тех пор, как лет шести мы научились грамоте и привыкли к черно-белому полю печатной страницы и когда потускнели для нас смарагды и сапфиры и все другие сокровища мира, столь явные детям и великим поэтам. Оттого что поэзия возвращает миру его сверкающее обличье, его настоящее **лицо**. Она начисто промывает окна в наших жилищах, а то и прорубает в них новые окна, чтобы возможно больше ворвалось в них воздуха и света; а вместе с ними вся торжественная красота звездного мироздания.

И поэт-слепец вернулся к этой красоте. Болезнь и беда, стучавшиеся в его дом, ничего не отняли у него, у его молодости, неожиданно ставшей вечной. Вот он и обратился к любимой:

От тебя на Куре трепещет
Золотистый искристый свет
И весенней лазурью блещет
Дагестанский синий браслет.
В этих искрах и брызгах — вся ты.
Так я милую узнаю!
Жаль, что год мой шестидесятый
Не похож на юность мою.

Ан нет! Очень похож на юность. Все осталось на своем месте.

Восьмидесятилетний Гете сочинил свою «Мариенбадскую элегию», как будто он был восемнадцатилетним сорванцом и влюбился напропалую в еще более юное существо. Но ведь недаром назвал это обращение к любимой «элегией»! И действительно, она безнадежно печальна: старик понимал, что дело его плохо. Его элегия — своего рода манифест отказа от счастья.

У нашего прекрасного современника нечто противоположное. С него достаточно памяти о былом. Его избранница навсегда осталась для него молодой, стройной, черноволосой, любимой. И песня его жизнерадостна. Поэт **преображает** старость — в юность, слепоту — в зрение, прошлое — в настоящее — уже навсегда, оттого что все это, вместе взятое, и есть поэзия!

Здесь ничто не сравнивается, не противопоставляется одно другому. Гете и Чиковани равны друг другу, оттого что они поэты. А поэзия и вечная молодость всегда синонимы.

Пускай старость Симона была невесела и нелегка. Многое обрушилось на него. Редели вокруг него сверстники-товарищи. Реже появлялись в его доме гости из Баку, Еревана, Москвы, Ленинграда. Стены его рабочей комнаты все теснее и теснее продвигались к его постели. Он лежал слепой и шарил бледными, слабыми пальцами по шершавому одеялу. Но ему не было ни горько, ни страшно. Оттого что «поэзия пресволочнейшая штуковина — существует, и ни в зуб ногой». Оттого что поэзия — это **сила духа!** А что это такое — объяснить невозможно. И великий поэт выказал такую силу духа, что тут можно склонить молчаливо голову перед нашим другом и современником, великим поэтом Грузии.

Симон Чиковани покоится на горе Мтацминда, рядом с Важа Пшавела, недалеко от могилы Грибоедова и его юной жены, красавицы Нины Чавчавадзе. Марика Чиковани скончалась через два года после мужа и погребена рядом с ним.

Два имени — Марика и Симон — были в жизни нераздельны. Нераздельны они и в бессмертье.

ОПЕРЕЖАЯ ЖИЗНЬ

(Гражданская лирика Симона Чиковани)

В 1927 году в программной статье журнала «Левизна» Симон Чиковани писал: «В центре литературы прошлого стоит эпос... в центре эпоса — человек, олицетворяющий общественный идеал. Такого человека в русскую поэзию ввел Пушкин, в грузинскую — Бараташвили.

Современная литература отвергла вышеуказанные принципы и, изгнав человека из поэзии, вменила ей в обязанность лишь распространение новостей, стилистические формации и т. д. Но здесь левизна исчерпывает себя, и русская левовская поэзия стоит перед чрезвычайной опасностью. Выходом из этого положения, по нашему мнению, было бы решение в новой литературе проблемы человека... С принципами этого нового человека связано и понятие нового эпоса» («Новый быт и новая поэзия»).

Одним из первых Симон Чиковани ощутил опасность литературной политики наиболее ортодоксальных левовцев, грозивших изгнать человека из литературы. В таком случае поэзия добровольно отказывалась от отображения гражданского идеала, так как лирика без человека безуспешно противостояла бы мещанским, нэпманским представлениям о жизни.

Симон Чиковани неспроста связывал литературное будущее грузинских «левовцев» с проблемами, одолевавшими их русских коллег. Эстетическая платформа русской левизны в течение ряда лет служила своеобразным камертоном для Симона Чиковани и его товарищей. Естественно, что грузинский поэт с тревогой отмечал опасность, общую для всего «Левого фронта».

Примечательно: в том же 1927 году, когда писалась статья Чиковани, в Тбилиси издается сборник стихов «левовца» Василия Каменского, отмеченный именно теми отрицательными тенденциями, на которых заострял внимание автор статьи «Новый быт и новая поэзия». Цитаты из сборника стихов Каменского сами по себе служат прекрасной иллюстрацией основных положений статьи С. Чиковани. Каменский писал:

Пролетарские амбалы —
 Наши массы вперед,
 Все мы, вкопанные шпалы,
 Держим рельсы на груди.
 Шпалы — шпалы,

Шпалы — шпалы,
 Шпалы — шпалы,
 Шпалы — мы.

(«Шпалы»)¹.

Нивелирование личности, отказ от отображения внутреннего мира человека стали отличительной особенностью эстетической платформы ортодоксальной левизны. И на этот раз теоретики литературы перецежеголяли писателей. Апологет русского футуризма Осип Брик объявлял политическое недоверие Александру Фадееву лишь за то, что, дескать, в его романах замечается излишняя заинтересованность психологией человека. В статье «Разгром» Фадеева Брик писал: «Нужно поставить перед литературой задачу: давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами. Мы ценим человека не по тому, что он переживает, а по той роли, которую он играет в нашем деле. Поэтому интерес к делу для нас основной, а интерес к человеку — производный.

Если даже и стоит сейчас вопрос о том, как воспитывать людей для нашего дела, то это не значит, что мы переносим центр внимания на человека как такового. Формула Горького: «Человек — это звучит гордо!» — для нас совершенно негодна...»².

Не удивительно, что каждый истинный писатель, в том числе Чиковани, всем своим нутром, всем своим творчеством противостоял губительным для литературы рецептам вчерашнего соратника.

Литературная миссия Симона Чиковани с самого начала была определенной и ясной: утверждение в поэзии нового человека, нового гуманистического идеала. Эстетическая мизантропия, отождествление человека с «маленьким винтиком» гигантской машины шли вразрез с его представлением о человеке, как о «мере всех вещей».

Он усматривал в человеке друга или врага, героя или труса, но всегда лич-

¹ В. Каменский «Автобиография. Поэмы. Стихи», издательство «Заккнига», Тифлис, 1927.

² «Литература факта» (Первый сборник материалов работников «Лефа»), Москва, 1929.

ность, а не безымянную песчинку. Именно такое видение человека обуславливало характерное для поэта взволнованное отношение к действительности.

Симон Чиковани не принадлежал к тому типу людей, которые хотели построить новую жизнь в перчатках. Эта стройка представлялась ему каждодневной, неутихающей битвой. Все, что оказалось по ту сторону баррикад или же просто вызывало ассоциации прошлого (иногда и непреходящие ценности), с юношеской беспощадностью сравнивалось с землей, предавалось анафеме, осмеивалось. Истоки этого всеотрицающего пафоса блестяще подметил А. В. Луначарский в своей статье о Маяковском. «Ему казалось, что мир, в котором он родился, — в который он, если можно так сказать, родился, — одряхлел, обветшал, — писал Луначарский. — В нем есть свои какие-то знаменитости, какие-то свои музеи, перед которыми все преклоняются, но эти знаменитости и музеи служат лишь для осыяния, благословения того ничтожного и дряхлого мира, который сейчас существует.

Маяковский очень хорошо понимал, что в прошлом человечества имеются огромные ценности, но он боялся, что если эти ценности признать, то придется признать и все остальное. Поэтому лучше против всего взбунтоваться и сказать: мы сами себе предки! Пусть наша молодость скажет совсем молодые слова — такие молодые, которые дадут возможность омолодить общество и мир!» («Маяковский — новатор»)³.

Чиковани был сыном нового века, и вместе с революционным идеалом нового человека он разделял ошибки и искушения своего времени. Вечные темы поэзии, вековые нормы эстетики одна за другой падали за борт «парохода современности». Но как только угас пыл первых литературных боев, стало ясно, что «облегченному» таким образом пароходу не было суждено дальнейшее плавание. К концу 20-х годов в гражданской лирике Чиковани всеотрицание прошлого и пафос немедленного утверждения новой жизни уже не отождествляются друг с другом. Прошлое безропотно заняло отведенное ему место. Отныне перед искусством встала куда более важная проблема: на выравненной величайшей социальной революцией целине надо было создать систему новых ценностей, новую этику, новый гуманистический идеал.

В то время как старые этические ценности были забыты, скомпromетированы или осмеяны, когда немалая часть писателей представляла себе литературу будущего лишь как производ-

ственную поэзию и прозу, Симон Чиковани неустанно искал ту гражданскую и эстетическую позицию, которая дала бы ему возможность превратить поэтическое слово в нравственный ориентир общества.

Для Симона Чиковани революционные бои сместились на новый фронт. Это были бои «за новые пути искусства, за искоренение псевдолевизны, за утверждение созидательных принципов жизни и определение понятия нового человека» (из передовой статьи журнала «Левизна», январь 1927 г.).

Хотя в битвах за нового человека и не возводились баррикады, однако судьба революции во многом зависела от того, чей идеал — революционера или нэпмана — победит в сознании миллионов людей. Сражение за новые этические принципы, за утверждение нового быта окончилось поражением меркантильной философии, но и сегодня одна из главных задач советской гражданской поэзии — это искоренение пережитков тех, нэпманских, представлений о жизни.

Беспощадное саркастическое острие гражданской лирики Симона Чиковани в первую очередь направлено против мещанского быта и мещанских идеалов. В стихотворении «О бюрократе» (1928) С. Чиковани писал:

Он взяток не берет. Лишь угождает
старшим,
При случае на младших накричит.
В ладах с женой. Живет спокойной
жизнью,
Ведь нет для негодования причин⁴.

Поэт прекрасно понимал, что каста, которая называется тут мещанами, то обывателями, не так легко меняет представления о жизни. Видел он и то, как к мещанам «дореволюционной закалки» присоединились новоявленные нувориши-нэпманы. Всей этой своре для «духовной жизни» нужно было, пожалуй, лишь несколько душещипательных фильмов да кафешантанная музыка, больше ничего.

С. Чиковани считал невозможным даже малейший компромисс между новыми гражданскими идеалами и мещанским укладом жизни. Он издевался над обывателями, над «гражданами», в которых не было ни доли гражданственности, высмеивал их вкусы, их быт, их пристрастия:

Тянутся граждане миленькие
К стихам сладострастным и розам.
«Хлеба нам, зрелищ и лирики!»
— таков их сегодняшней лозунг.

(«Призыв», 1927)

³ А. В. Луначарский «Статьи о литературе», Москва, 1957.

⁴ В тех случаях, когда имя переводчика не указано, подстрочник сделан автором статьи.

В 20-х годах в гражданской лирике Симона Чиковани царила стихия непримиримой борьбы. Яростно сражаясь, поэт иной раз доставал поэтическим клинком и своих единомышленников. (Впоследствии он с улыбкой вспоминал подобные эпизоды).

Начиная с 30-х годов творчество Чиковани все более и более высвобождается от вчерашних ассоциаций и сиюминутных тревожностей. За полемическим фасадом его гражданской лирики уже отлит тот эталон, по которому мерит поэт своих друзей и врагов, вчерашний и сегодняшний день. Начинается пора раздумий, и, хотя «старость еще не нагрязнула, уже унялась ранняя ярость»:

Когда ж нагрязнувшая старость
Посеребрит нас, как рассвет,
И ранняя уймется ярость,
И зрелость сменит зелень лет,
Тогда, как день на водной глади
Покоят рощи и луга,
Так чувства и у нас в тетради
Войдут и станут в берега.

(«Посещение рыбака», 1935,
перевод Б. Пастернака)

Симон Чиковани был бунтарем по натуре, и, к счастью, его литературную судьбу миновала та подмеченная В. Катаевым парадоксальная закономерность, согласно которой «лучшие консерваторы в искусстве получают из бывших революционеров». До конца жизни Чиковани сохранил юношеский пыл противостояния всеобщей инерции, ложным авторитетам. Без этого качества в его лирике вряд ли появилась бы та принципиальная новизна афористического поэтического мышления, которая в свою очередь обусловила новаторство его поэтической речи.

Чувство правофлангового грузинской советской поэзии ни на минуту не оставляло Чиковани. Эта гражданская позиция предьявляла свои жестокие требования к его лирике. Вплоть до середины тридцатых годов он походил на бойца, в воинственный клич, призыв которого не должна прокрасться ни одна нотка лиризма и нежности. Иначе никто не последует за ним.

Лишь потом, к концу 30-х годов, глядя на поражение «поэзии мечтан», Симон Чиковани смог позволить себе завести отдельную лирическую тетрадь, которой доверял малейшие движения души. Сегодня мы знаем, что это одна из лучших лирических тетрадей, оставленных потомству грузинским поэтом. Вот одна страница из этой тетради:

Юность, молодость, зрелость...
лежит между вами граница —
краткий миг передышки,

смущенья и смутных забот.
Чаша ядом священным
еще не устала искриться,
но все явственней сокол
усталую руку гнетет.
Этот миг наступил, —
и сомненье меня охватило:
если пальцы мои
обожжет догорающий трут,
значит, пламя исеякло,
остались одни лишь чернила.
Но они без огня
на странице строку не зажгут.
Если свойства души
заклучаются в пень и плаче, —
чтоб вернее раскрыть
эти свойства, подобно тому,
как весенние почки
апрель раскрывает горячий, —
оробелые руки
для исповеди подниму.
Руки робкие мастера!
Вам довелось потрудиться.
Как же вас подниму,
если крыльями сокол не бьет?!
Юность, молодость, зрелость...
лежит между вами граница —
Время тайных раскаяний,
смутных тревог и забот.
Это время пришло.
Снег валится все гуще и гуще.
Он растает еще.
Но сегодня долина бела.
Я хочу, чтобы жизнь
уподобилась ниве цветущей,
чтобы нивой в цвету,
а не сломленной веткой была.
Сети трудных раздумий
в житейское море закину:
поздней ночью, в слезах,
я на милую землю пришел, —
и поэтом с песней
подняться хочу на вершину,
как бы ни был мой путь
утомителем, долог, тяжел.
О родная страна!

Дай росой твоей окропиться.
По распаханной ниве
твой сеятель с песней идет...
Юность, молодость, зрелость,
лежит между вами граница —
краткий миг передышки,
смущенья и смутных забот.

(1935—1950 гг., перевод А. Межирова)

В «сетях трудных раздумий» поэта нетрудно различить наиболее волнующую его тему духовной зрелости художника.

Любимейший поэт Симона Чиковани — Маяковский как-то писал, что «поэзия должна хотя бы на пять минут опережать жизнь». Эти слова могли бы послужить эпиграфом ко всему творчеству Чиковани. Это замечательное качество его поэзии особенно ярко проявилось в гражданской лирике периода Великой Отечественной войны.

6320
010333

Все эти годы Чиковани много размышляет и пишет о смерти. Это естественно: смерть шагала по полям и горам его Отчизны. На эту тему написаны «Смерть Лешкашели», «На Кубанской долине», «Прощальное», «Раненый», «У могильного камня». Все эти стихи о смерти. Однако достаточно поэту уловить малейшие признаки побеждающей жизни (хотя бы чудом уцелевшие на поле боя подсолнухи), как он, «на пять минут опережая жизнь», говорит о победе добра над злом, света над мраком:

Ждут и знают, что жизнь на пороге!
Сгинет враг, и герои вернуться,
Станут снова цветы у дороги
Петь о солище и к солнцу тянуться.

(«Подсолнухи», 1942, перевод
К. Арсеновой).

Поэт воочию видел, что те, кого вчера именовали «маленькими винтиками», сегодня показывали пример сверхчеловеческой стойкости, мужества, упорства, так как знали, что теперь от каждого из них зависело, быть или не быть их стране. В героизме своих соотечественников Симон Чиковани видел торжество и своей гражданской поэзии. Он не мог не гордиться этим.

Современники Симона Чиковани не прониклись бы гражданским идеалом его лирики, если бы они не видели в поэте искреннего и достойного человека, имеющего моральное право называться нравственным учителем общества.

С годами Чиковани все чаще и чаще возвращался к размышлениям об истинном предназначении поэта, о пребратах своей судьбы. Иногда в минуты самоотрицания он чувствовал себя должником Вселенной, поэтом, которого «проклятая рифма толкает всегда говорить совершенно не то» («Работа»). «...Благородные сомнения в своих силах, в своем назначении, в своем призвании свойственны каждому высокому таланту, так же как самоуспокоенность — удел лишь слабых и ничтожных», — писал Чиковани в воспоминаниях о Маяковском и, казалось бы, этими словами подводил итог и своим тревогам и сомнениям.

Запоминается монолог поэта:

Который в мире час?
Час вдохновенья.
Горчайший час,
сладчайший час..

(Перевод Е. Евтушенко)

Это строки из «Тбилисской ночи». Симон Чиковани смог возвести горечь и сладость вдохновения в ранг прекрасного, присоединить к владениям грузинской поэзии много тех земель, на которых до тех пор единолично господствовала проза, и, наконец, всем своим творчеством доказать, что человек не может и не должен уподобляться беспомощной, сломленной ветке, поддающейся каждому дуновению ветра, что человек достоин лучшей участи. Именно поэтому Симон Чиковани не остался должником сегодняшнего дня.

Григорий ХАВТАСИ

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ МИРА В ПОЭЗИИ

(К изучению эстетических воззрений Гейне)

«Девушки и женщины Шекспира» — одна из работ Гейне, затрагивающих теоретические вопросы искусства. Значение ее не только в том, что она дает представление о гейневской концепции Шекспира, но и в том, что проливает свет на его понимание основных вопросов теории искусства, в частности отношения искусства к истории. Шекспир как автор исторических драм, по мнению Гейне, отличается от обыкновенных драматургов, для которых «высшей целью является поэзия и ее художественное выражение»¹, отличается тем, что он «не только поэт, но и историк», что в его задачу входила «не только поэзия, но и история»; его прозорливое око «видит часто то, о чем молчит хроника». Именно в этом своеобразии, в счастливом сочетании качеств поэта и историка видит Гейне причину большой популярности Шекспира в Англии, его почитания не только как поэта, но и как историка.

По всему видно, что своеобразие творческого метода Шекспира Гейне истолковывает как его преимущество перед обыкновенными поэтами и историками. Знаменательно, что Шекспир в этом отношении напоминает ему древнейших историков, «которые также не знали разницы между поэзией и историей и давали не только перечень событий, пыльный гербарий фактов, но и прославляли правду пением и в пении давали звучать одному только голосу правды».

Анализ своеобразия творческого метода Шекспира позволяет Гейне выдвинуть обобщающего характера положение о преимуществе поэзии в понимании тех или иных исторических эпох, утверждать, что поэту удается постигнуть то, что «заурядному сознанию кажется загадочным и методами обычного изучения постигается лишь с трудом или не постигается совсем». Удастся это, по мнению Гейне, потому, что «поэт знает основные причины всех явлений», «однаково охватывает орбиты и центры вращения всех вещей», «постигает вещи в широчайшем объеме и в глубочайшем средоточии».

В чем конкретно усматривает Гейне это своеобразие, преимущество поэзии, в данном случае исторических драм Шекспира? В том, что наиболее полного и правдивого отображения минувших исторических эпох Шекспир, по его мнению, достигает по обрывкам мира явлений. Тем самым проблема художественного отражения в эстетических взглядах Гейне органически связывается с его положением о восстановлении в поэзии целостности мира (Weltergänzung), о восполнении пробелов истории.

Именно в исторических драмах Шекспира находит Гейне подтверждение своим взглядам на то, что поэту «стоит только внести извне в его сознание малейший обрывок мира явлений, тотчас же открывается вся универсальная связь», что «обрывок мира явлений должен быть дан поэту всегда извне прежде, нежели совершится этот удивительный процесс восполнения мира». Говоря об этом процессе, Гейне имеет в виду главным образом человеческую историю; он считает, что поэзия в состоянии восполнить пробелы истории, дать полную и правдивую картину исторического прошлого. Так, например, ставя вопрос — честно ли следовал Шекспир истории в драме «Генрих VI» при изображении короля Эдуарда, Гейне отвечает: «Я должен повторить свое замечание, что он умел заполнять пробелы истории».

Следует отметить, что как в рассматриваемой выше работе «Девушки и женщины Шекспира», так и в других трудах Гейне не часто оперирует понятием — «восполнение мира» в поэзии, не дает сколько-нибудь исчерпывающего от-

* Настоящая работа с соответствующим научным аппаратом опубликована в журнале «Веймарер Бейтреге», 1972, № 2.

¹ Здесь и далее перевод отдельных мест сочинений Гейне (H. Heines sämtl. Werke herausgegeben von E. Elster, Leipzig u. Wien, Bd. III—VII) дается по русскому изданию, осуществленному под общей редакцией Берковского и Луппола.

вета на ряд вопросов, возникающих в связи с таким толкованием проблемы. Но это тем не менее не значит, что положение о восстановлении целостности мира является чем-то случайным для указанных работ поэта. Весь гейневский анализ исторических драм Шекспира неопровержимо свидетельствует о том, что в них он усматривает проявление в наиболее полной форме того своеобразия, которым, по его мнению, характеризуется поэзия, способность восстановления целостности мира по его обрывкам, восполнения пробелов истории. И сравнение поэта с математиком, по малейшему отрезку окружности «сразу же определяющим всю окружность и центр», призвано подтвердить правомочность указанного положения Гейне.

Следует также отметить, что подобное понимание своеобразия поэзии, а равно и некоторых других видов художественного творчества лежит в основе рассуждений Гейне по теоретическим вопросам искусства и во многих других случаях, в частности, когда речь идет о творчестве Имерманна, В. Скотта, Шенка и других. И хотя при этом нигде не упоминается формула о восполнении в искусстве пробелов мира, основная мысль Гейне сводится к тому, что названные писатели восстанавливают целостность мира не по всему комплексу эмпирических данных, а по обрывкам мира явлений.

Было бы неверным считать, что Гейне первым выдвинул это положение. Еще Аристотель (на что в свое время указывал Лессинг) разграничивал сферы поэзии и истории по указанному признаку. Он отмечал, что «поэзия философичнее и серьезнее истории», что «она говорит больше об общем, история — о единичном»². Как видно из последующего изложения, Гейне определенно расходится с Аристотелем в понимании вопроса об отношении к истории поэта и историка, однако положение Аристотеля, что поэзия делает ставку на общее, разделяется и им.

Благоприятные условия для такого понимания рассматриваемой проблемы возникли в эпоху утверждения новых общественных отношений, когда особенно остро ставился вопрос об отношении искусства к истории, когда искусство отводилась чуть ли не главенствующая роль в преодолении реально существовавших диссонансов общественной жизни, в достижении социальной гармонии. Уже одно то, что Гете и Шиллер видели в искусстве важнейшее средство воздействия на общество, средство правдивого отображения исторического прошлого, определенным образом стимулировало Гейне на разработку выдвинутой им теории восполнения пробелов мира в поэзии.

Изучение высказываний Гейне о Гете и Шиллере свидетельствует о том, что в их исторических произведениях он видит по сути дела ту же картину, что и у Шекспира. Иными словами, и у них налицо правдивое отображение исторического прошлого не только на основе скрупулезного изучения исторических фактов, но и с помощью интуитивного постижения.

Возникновению теории о восполнении пробелов мира в поэзии в наибольшей степени благоприятствовала эпоха романтизма, когда основные вопросы искусства рассматривались преимущественно в идеалистическом плане. Исходной позицией при этом служили основные положения как субъективно-идеалистической философии Фихте, преимущественно его «Наукоучения», так и объективно-идеалистической философии Шеллинга. Через все творчество братьев Шлегелей, Новалиса, Вакенродера и Тика красной нитью проходит мысль о том, что искусство восстанавливает целостность мира, устраняет диссонансы и утверждает полную гармонию. Причем достигается это, по их мнению, не в результате изучения эмпирических данных, а в итоге мистического устремления к абсолютному, божественному. «Фрагменты» Шлегелей, «Фрагменты» Новалиса, «Фантазии» Тика, а также «Люцинда», «Ученики из Сауса», «Генрих из Офтердингена», «И. Берглингер» — вот далеко не полный перечень работ, создавших идейные предпосылки теории о восполнении в искусстве пробелов мира.

И неудивительно, что выдвигается она именно среди немецких романтиков, конкретно Шлейермахером, считавшим, что «искусство не есть подражание природе, наоборот, оно является канонм природы»³. Излагая в соответствии с этим суть отношения в искусстве отдельного и целого, Шлейермахер заключает: «Итак, художественная деятельность — это настоящее восполнение природы». Под этим углом зрения рассматривает Шлейермахер мифы. Он считает, что «миф является восполнением как истории, так и природы».

Нельзя также не отметить, что положение о восстановлении в искусстве целостности мира до Гейне и тем более до Шлейермахера выдвигал Гюго. Так, в предисловии к «Кромвеллю» сказано, что искусство «восстанавливает то, что

² Аристотель «Об искусстве поэзии», перевод Ф. А. Петровского, Москва, 1957, стр. 68.

³ Schleiermacher, fr. Vorlesungen über Aesthetik. Berlin, 1842, S. 149.

урезали летописцы... заполняет их пробелы с помощью воображения»⁴. Не касаясь пока вопроса о том, в чем сходится и в чем расходится Гейне с теми, кто раньше него говорил о восполнении в искусстве пробелов мира, обратим внимание на то, что эта его теория не является случайной для эстетической мысли того времени.

Но не случайна ли она в системе художественных взглядов самого Гейне? Казалось бы, ответ напрашивается отрицательный. Сомнения как будто не должно быть, что, выдвигая эту теорию, Гейне приходит в резкое противоречие с самим собой, со своим пониманием сущности и назначения искусства, впадает в идеализм. Уклон в сторону идеализма следует видеть не в том, что Гейне теперь как бы ставит под сомнение защищаемое им положение, согласно которому искусство должно отражать закономерность реального мира, а в том, как он понимает сам процесс отражения. Тем самым положение о восполнении пробелов мира в искусстве в системе художественных взглядов Гейне не противопоставляется положению, по которому в искусстве отражается, точнее, должна отражаться реальная действительность. Так, например, отрицание правомочности утверждения, что Шекспир «отражает природу в зеркале», Гейне здесь связывает с признанием, по которому то, что отражается в душе поэта, «точнейшим образом соответствует отображенному в зеркале».

Аналогичная картина вырисовывается и в других работах Гейне, касающихся своеобразия художественного отображения истории, в частности, когда он говорит об Имерманне, Шенке и В. Скотте. Причем примечательно, что в результате восстановления целостности мира по его обрывкам, восстановления пробелов истории в данном случае они достигают полного соответствия отображенного с отображаемым. Итак, положение о восстановлении в поэзии целостности мира, в освещении самого Гейне, не идет в разрез вообще с защищаемыми им принципами материалистической эстетики. Однако это еще не значит, что такого противопоставления в действительности нет, что, выдвигая указанную концепцию, Гейне не скатывается к идеализму, Уклон в сторону идеализма дает о себе знать в понимании того, с помощью каких средств, по мнению Гейне, достигается восполняющий пробелы мира художник всесторонне правдивого отображения действительности. Достигается это, оказывается, в результате того, что поэт, в данном случае Шекспир, наделен соответствующей врожденной способностью, в силу которой в его душе отражается образ природы.

Гейне считает, что «поэт носит в своей душе образ и подобие целого». Он не объясняет причины, истоков этого явления, почему, в силу чего поэт «знает основные причины всех явлений», «орбиты и центры вращения всех вещей». Однако бесспорно то, что им он отводит важное место в отмеченном процессе восполнения мира. Таким образом, соответствие между отображаемым и отображенным в поэзии Гейне преподносит как результат некоей мистической, неосознанной поэтом необходимости, как откровение. Он сам называет эти явления «внутренними откровениями», добавляя, что «им мы обязаны произведениями поэта».

Такое толкование сущности художественного процесса характерно не только для «Девушек и женщин Шекспира», оно прослеживается во многих его других работах, в которых говорится о самоцельности, автономии искусства, о художественном гении и таланте, об отношении между формой и содержанием в искусстве. Так, например, анализируя творчество Гюго, Гейне заявляет: «...Я стою за автономию искусства. Оно не должно быть ни служанкой религии, ни служанкой политики, оно само себе цель так же, как сам мир». «В искусстве я супернатуралист, — пишет Гейне в другом месте. — Я считаю, что художник не может найти в природе нужные ему типы, но что самые значительные из них как бы путем откровения являются его душе, подобные врожденной символике врожденных идей».

Следовательно, Гейне выступает против нормативной эстетики. Ибо требование придерживаться нормативности, по его мнению, равносильно признанию возможности обучать тому, что является высшим в искусстве. Гейне же считает, что «о каждом художественном гении следует судить по законам его собственной эстетики, которые он принес с собой», что «правила и всякие старые теории в еще меньшей степени можно применять в подобных случаях».

Подлинно художественное творчество, по Гейне, должно руководствоваться и обуславливаться своими внутренними законами. Оно внутренне свободно, само для себя является законодателем. Искусство — результат не подражания природе, не изучения ее. То, что является высшим в искусстве, непод-

⁴ V. Hugo. Theatre. Paris, 1875, p. 47—48.

ражаемо. «У Паганини никогда не было учеников и не могло быть, ибо лучшему, что он умел, тому, что есть высшее в искусстве, нельзя ни научить, ни научиться».

Величие Ораса Верне в том, что он — художник с врожденной способностью, что «дар живописи является для него природным, как для птичьего личинного червя — прядение, как для птицы — пение».

Гейне считает, что гений руководствуется своим собственным законом, своей эстетикой, что «каждого гения следует изучать и судить по законам его собственной эстетики». Пренебрежение этим он находит в критике Декампа Жалем.

Создается впечатление, что, выдвигая положение о восполнении мира в искусстве, а равно и высказывая суждения о художественном гении, Гейне вносит определенный диссонанс в свое понимание сущности искусства, несущее явно выраженный материалистический характер. С одной стороны, в своих многочисленных работах он придерживается мнения, что искусство, как и вся идеология, обуславливается закономерностью общественной жизни, с другой, выдвигая положение о восполнении в поэзии пробелов мира, а также предлагая свои суждения о художественном гении, в какой-то мере склонен отрицать это. То он отмечает, что первична материя и ей принадлежит определяющая роль, то говорит о наличии в душе художника каких-то готовых форм. Противоречие в суждениях писателя в данном случае явно налицо. Однако наличие этого противоречия несколько не мешает определить для теории Гейне о восполнении целостности мира в поэзии надлежащее место в системе его художественных взглядов.

Основная идейная направленность работы «Девушки и женщины Шекспира», преимущественно развивающей указанное выше положение, вполне созвучна с теми трудами Гейне, в которых специально или попутно рассматриваются узловые вопросы искусства («Путевые картины», «Французские художники», «О французской сцене», «Лютеция», «Романтическая школа в Германии» и другие). Во всех них слышен голос передового мыслителя нового времени, озабоченного судьбой человеческого общества, его культуры, искусства, голос передового писателя, который историю человеческой мысли рассматривает как историю непрекращающейся борьбы между материализмом и идеализмом и который основную задачу нового времени видит в социальном и духовном раскрепощении человека.

Все эти работы характеризует резко критическое отношение автора к идеализму, к его проявлению в искусстве. В них поэт находится под удручающим впечатлением укorenившегося в эпоху формирования буржуазных отношений духа антиэстетизма. Анализ творчества Шекспира, усмотрение в нем способности восполнения пробелов мира Гейне преподносит именно на фоне острой идеологической борьбы между противостоящими друг другу мировоззрениями — материализмом и идеализмом. При этом поэт не ограничивается только констатацией факта, а путем выявления своей позиции выражает приверженность к материализму.

Гейне с восхищением говорит о «великом британце», как о поэте и историке, не только потому, что он великий мастер художественного слова, но и в силу того, что видит в нем передового мыслителя, выступающего против спиритуализма, духа антиэстетизма. Творчество Шекспира, в трактовке Гейне, является «утешением в трудные времена». Имеется в виду наступление в Англии эпохи буржуазного антиэстетизма, выступления пуритан, когда «вместе с кровью Карла Первого... вся поэзия вытекла из артерий Англии». Оно представляется ему подтверждением того, что «веще око поэта провидило по знаменательным приметам то нивелирующее пуританское время, которому суждено было положить конец не только королевской власти, но и всякой жизнерадостности, всякой поэзии, всякому светлому искусству».

Как во многих других случаях, так и в ходе анализа исторических драм Шекспира Гейне ратует за права поэзии, специфически-художественного, оттягивая свое решительно-негативное отношение к вульгарно-реалистическому пониманию сущности и назначения искусства. Следует также учесть, что Гейне не удовлетворен решение в искусстве вопроса об отношении между материальным и идеальным как в сторону принижения роли последнего, так и в сторону их отождествления, поскольку в нем он усматривает умаление значения специфически-художественного. В основе гейневской критики эллинского искусства, как его модернизированного вида в новое время, лежит признание за искусством активной, воздействующей на окружающий мир функции.

Из этих теоретических предпосылок и следует исходить при исследовании сущности положения Гейне о восполнении в поэзии пробелов мира. Именно из признания того, что апелляция к специфически-художественному в системе художественных взглядов Гейне несколько не знаменует отход писателя от

принципов материалистической эстетики. Но как же совместить с этим тот факт, что в рассуждениях Гейне о восстановлении целостности мира в поэзии все как-то сводится к признанию решающего значения не привносимого в творчество поэта внешним миром, а самим поэтом. Чтобы разобраться в этом, необходимо более подробно рассмотреть суть положения Гейне о восполнении пробелов мира в искусстве, проследить, как он его аргументирует.

Прежде всего следует отметить, что, говоря о своеобразии подхода к историческому прошлому поэта и историка, Гейне отнюдь не становится на точку зрения отрыва искусства от действительности, вовсе не считает, что в творчестве поэта решающее значение отводится субъективному фактору. В данном случае он оттеняет специфику искусства, того, что делает его искусством. Насколько же правильно понимается им эта специфика, дело другое.

Привлекает внимание и другое немаловажное обстоятельство — Гейне не отгораживает художника от историка точно так же, как в рассуждениях о Фихте и Шеллинге не отгораживает философа от поэта. Он считает, что умение поэтически подойти к историческому прошлому не является прерогативой только поэта. Подход некоторых историков к историческому прошлому характеризуется той же специфичностью, что и подход поэта. Рассуждения о Мишле наглядное тому подтверждение.

В Мишле Гейне видит своеобразного историка, заслуживающего того, чтобы его поставили рядом с Тьером, Минье, Гизо и Тьерри, хотя историю он пишет «совсем иначе». Своеобразие это в том, что Мишле в своих исторических работах обнаруживает такую же способность полного осмысления той или иной исторической эпохи, какую проявил Шекспир. Как и ему, Мишле удается сделать это не только посредством анализа фактов, а «с помощью волшебной силы слова» «вызвать из могилы мертвое прошлое».

Потому-то Гейне находит у Мишле «господство фантазии и чувства», а его «Историю Франции» называет «коллекцией снов», «книгой сновидений». Мишле напоминает ему «исполинские стихи «Махабхараты», и хотя Гейне прямо не говорит, что Мишле восполнял пробелы истории, но по всему видно, что в нем тоже усматривает именно такую способность. Правда, Гейне приходится констатировать, что Мишле «рожден спиритуалистом», но это не меняет сути дела, поскольку определяющее значение в его деятельности как историка он приписывает поэтическому осмыслению исторического прошлого.

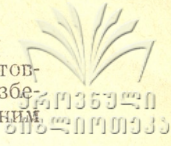
Как видим, Гейне не отгораживает поэта от историка. Однако это еще не значит, что он дает безусловно правильное понимание вопроса об отношении искусства к истории, что его положение о восполнении в поэзии пробелов истории научно состоятельно. Главное — это выяснение того, насколько верен Гейне в данном случае защищаемым им основным принципам материалистической эстетики; как он вообще понимает специфику искусства, специфические вопросы художественного отражения, насколько соответствует всему этому рассматриваемая нами его теория восполнения пробелов мира в поэзии.

Анализ взглядов Гейне на развитие философии и искусства со всей очевидностью свидетельствует о его резко критическом отношении к идеалистическому решению вопроса об отношении между материальным и идеальным. В понимании основных вопросов как философии, так и искусства Гейне ратует за права материи. Он за счастье и радость земной жизни, за реабилитацию материи. И против того, чтобы идея, дух рассматривались как первичные. Со страхом смотрит он на проявления спиритуалистических устремлений в современных ему пластических искусствах, усматривая в них дискредитацию материи, разложение материального мира. Наглядное тому подтверждение — рассуждения поэта о парижском музыкальном сезоне 1841 года, о симфонии Мендельсона-Бартольди, о Ф. Листе, Бетховене, Паганини, о хореографическом искусстве, о развитии живописи и скульптуры, литературы немецкого романтизма.

Выступая против дискредитации материи в искусстве, Гейне со всей определенностью подчеркивает, что решающую роль в художественном отражении следует отвести материальному миру, что процесс художественного воспроизведения должен являться отражением того, что дано в самой реальности. Но верен ли Гейне этому принципу, выдвигая теорию о восстановлении целостности мира в поэзии?

Вникая в суть гейневского анализа творчества Шекспира, послужившего основой указанной его теории, убеждаемся, что и в данном случае он верен положению, согласно которому искусство определяется закономерностью материального мира и должно отражать правду реальной действительности. В числе других фактов в этом нас убеждает и то, как Гейне понимает роль объективных и субъективных факторов в художественном творчестве.

Это факт, что, признавая способность Шекспира восполнять пробелы истории явлением врожденного порядка, а также считая, что поэт в своей душе-



носит «образ и подобие целого», Гейне склоняется к идеалистической трактовке сущности искусства. Однако опасности попасть в плен идеализма он избегает, поскольку определяющее значение в данном случае приписывает внешним факторам, закономерности материального мира.

Суть рассуждений Гейне о Шекспире, о его преимуществе перед историками, его теории о восполнении пробелов мира в поэзии, таким образом, самим Гейне сводится к признанию реалистической направленности мировоззрения и творчества Шекспира, к показу того, что тот является великим реалистом, правдиво воспроизводящим дух минувших эпох. По всему видно, что усмотрение в Шекспире способности восполнения пробелов истории Гейне совмещает с утверждением, что восполнение это идет не во вред, а на пользу исторической правде, так же как и поэзии.

Безусловно, в мировоззрении Гейне в данном случае налицо противоречие, поэт не свободен от влияния идеализма в понимании узловых вопросов искусства, в частности в понимании обусловленности художественного творчества, отношения искусства к истории. Тем не менее можно считать, что Гейне и на этот раз избегает опасности попасть в плен идеализма, в основном остается верен принципам материалистической эстетики.

Утверждая, что Шекспир восполняет пробелы истории, Гейне словно хочет сказать, что он воспроизводит историю не столько согласно тому, что ему подсказывает изучение фактов, сколько согласно тому, что ему дано как нечто врожденное, как «образ и подобие целого». Точно так же создается впечатление, что и в ходе анализа творчества Декампа он будто и тут исходит из обусловленности художественного творчества какой-то мистической необходимостью. В этом нас как бы еще более убеждает то обстоятельство, что в своих рассуждениях о Шекспире, особенно о Декампе, Гейне определенно принижает значение изучения эмпирических фактов, роли разума в создании замечательных памятников искусства.

Однако сколь ни закономерным может показаться такой вывод, нельзя не отметить, что он не соответствует фактическому положению, ибо в корне противоречит не только тому, как Гейне понимает сущность и назначение искусства вообще, но и характеру истолкования им вопроса о восполнении пробелов истории в поэзии. Как в многочисленных других случаях, так и при рассмотрении своеобразия творческого метода Шекспира Гейне стоит на точке зрения внешней, общественной обусловленности искусства, не упуская при этом из виду и того обстоятельства, что искусство не только отражает внешний мир, но и активно на него воздействует. Восстанавливая целостность мира, Шекспир, по утверждению Гейне, «не мог произвольно перекраивать данную ему ткань», «не мог по своему капризу преобразовывать события и характеры».

Исходя из этого, Гейне видит отличие трагедий Шекспира от трагедий других авторов в том, что последние, по его мнению, «либо сами изобретают сюжеты, либо перерабатывают их по своему крайнему разумению». В этом усматривается предпочтение, которое Гейне отдает художественной обработке сюжета человеком, являющимся не только поэтом, но и историком. Таков в его понимании Шекспир. Он постигает дух минувших эпох не на базе одних только эмпирических данных, фабулы же своих исторических трагедий он обрабатывает так, как это диктует ему его реалистическое чутье.

Гейневский анализ исторических драм Шекспира, послуживший основой теории о восполнении мира в поэзии, свидетельствует о том, что поэт в художественном творчестве и в данном случае определяющее значение отводит объективному, а не субъективному факторам и отрицает произвольное отношение художника к своему материалу. Гейне решительно выступает против ложного объективизма, ибо «невозможно не изображать минувшее, не сообщая ему окраску наших собственных чувствований». В подходе Шекспира к истории он видит наличие подлинного объективизма, при котором интересы современности остаются в поле зрения художника.

Следуя логике рассуждений Гейне, можно считать, что только природы, подобные Шекспиру, способны возникнуть в суть минувших эпох, восполнить пробелы истории, так как для «исторической правды необходимо не только точное обозначение факта, но и известные данные о впечатлении, которое этот факт произвел на его современников». А для этого, по мнению Гейне, требуется «не только простое знание документов, но и созерцательная способность поэта, которому доступны, как говорит Шекспир, «сущность и плоть прошедших времен».

Положение Гейне о восстановлении поэтом по обрывкам целостности мира, как видим, не дает основания приписать ему отрицание определяющей роли внешнего мира в художественном творчестве, конкретно в указанном им восполнении мира в поэзии. Заслуживает внимания также указание Гейне, что

наличие обрывков мира является предварительным условием восстановления в поэзии его целостности, а также на то, что «это восприятие обрывка мира является происхождением при посредстве органов чувств и является чем-то вроде внешнего толчка, обуславливающего внутреннее откровение, которому мы обязаны произведениями поэта». Как видим, Гейне не склонен отрицать защищаемое им положение о внешней обусловленности искусства, квалифицировать творческий процесс как явление подсознательное.

Этому утверждению не противоречит указание Гейне, что гений стоит обособленно, что его воля внешне не обусловлена. Поэт в данном случае хочет сказать не то, что гений отчужден от реальной действительности вообще, а то, что он отчужден, возвышается над банальной действительностью. Изолированность гения, таким образом, он воспринимает, как результат его разлада с окружающей банальной действительностью, а не как итог отрыва от нее вообще. Гейне констатирует не только то обстоятельство, что гений возвышается над указанной действительностью, но и что он не может так не поступить, ибо он гений. Поступки писателя направляются порой неосознанная им сила необходимости, Она и вынуждает его действовать так, а не иначе, вступать в противоречие с ограниченностью окружающей среды, уединяться, возвышаться над банальностью обыденности, но отнюдь не над реальной действительностью вообще.

Та же сила необходимости, поэтический гений, ошибочно идентифицированный Гейне с мировым духом, заставляют гения возвыситься и над своей личной волей. Подтверждение этому видит он в образе Шейлока, которым драматург вынес «оправдательный приговор несчастной секте». «Гений Шекспира, — пишет Гейне, — вознесся выше этой мелочной вражды между двумя религиозными группами».

Сила художественного гения, по Гейне, помогла Шекспиру преодолеть опасность спиритуалистического антиэстетизма. Та же сила, надо полагать, дала возможность «рожденному в лоне богатства» Мейерберу выразить в «Гугенотах» безмерные «муки, стоны и рыдания».

Придерживаясь мнения, что художественный гений преодолевает препятствия как объективного, так и субъективного порядка, Гейне отнюдь не склонен оторвать его от своей эпохи, от человеческого общества, считать его действия ничем не обусловленными. Из этих же теоретических предпосылок исходит он, когда видит общее между Шекспиром, Сервантесом и Гете. Представляя их в едином «поэтическом триумvirате», он намерен показать, насколько сумел каждый из них возвыситься до требований эпохи, выскочить в суть изменений социально-политической и идеологической жизни своей страны.

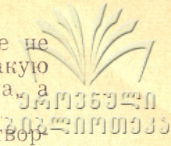
Наличие этого руководящего принципа следует видеть не только в том случае, когда Гейне прямо придерживается точки зрения общественной обусловленности искусства, но когда разбивает свое положение о восполнении пробелов мира в поэзии. Его суждения об этом процессе пронизывает уверенность, что именно таким путем достигается наиболее адекватное отображение действительности.

Однако следует сказать, что Гейне в сущности не столько аргументирует, сколько констатирует то положение, что в результате восполнения пробелов мира в поэзии достигается наиболее полное соответствие отображенного в искусстве с отображаемой действительностью. При этом напрашивается вывод, что в данном случае к реальности добавляется то, чего в ней не было. К тому же само понятие «восполнение», казалось бы, скорее исключает, чем подтверждает возможность реалистического охвата того, что является объектом восполнения. Как же Гейне выходит из этого противоречия?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует уяснить себе, каково его толкование понятия восполнения. Фактически у него получается, что наиболее полное и правдивое отображение действительности достигается скорее в результате сужения, чем расширения базы наблюдения, привлечения к изучению всего комплекса фактического материала. Что же в таком случае, по Гейне, обеспечивает полное и правдивое отображение действительности в поэзии?

Как было отмечено выше, это, по его мнению, в значительной степени обеспечивается наличием «созерцательной силы поэта». Хотя Гейне и не пренебрегает при этом значением документов, но по всему видно, что логическое ударение им делается все же на «созерцательной силе поэта». Таким образом, создается впечатление, что в понимании процесса восполнения пробелов мира в поэзии Гейне делает ставку, главным образом, на субъективные факторы, принижая роль изучения фактов, тем самым порывая с принципами материалистической эстетики. Так ли это?

Каким бы правомерным ни показалось такое заключение, следует признать, что оно не соответствует фактическому положению. Гейне, конечно, и в данном случае не свободен от противоречий, однако в том, что он считает возможным по обрывкам мира явлений делать реалистические художественные



обобщения, противоречия нет. Гейне в данном случае интересуется освещением не всей проблемы художественного отражения, в том числе вопроса о том, какую роль играет в художественном процессе изучение фактического материала, а того, какова роль творческой фантазии художника.

Подчеркнуть роль поэтической способности созерцания, здоровой творческой фантазии в художественном процессе ему давало основание творчество крупнейших мастеров художественного слова как прошлых времен, так и современной эпохи, и в первую очередь тех критических реалистов, которые соемищали кропотливое изучение огромного фактического материала с богатой творческой фантазией. Утверждая, что поэт способен по обрывкам мира явлений воссоздать его целостность, Гейне подчеркивает своеобразие поэзии, заключающееся в способности поэта создать глубоко правдивую картину действительности и в том случае, когда он лишен возможности непосредственно общаться с объектом своего художественного отображения, когда он даже не видел указанного объекта. Такую способность он видит и одобряет не только у Шекспира, но и у К. Имерманна, В. Скотта и многих других. Он восхищен умением Имерманна дать в своей трагедии реалистическую картину того, чего он в действительности не видел.

Гейне признает, что при поэтическом отображении тех или иных исторических событий возможны отдельные погрешности, квалифицируемые им даже как искажение. Но он решительно протестует против предъявления поэтам по этой причине обвинения в искажении истории, ибо убежден, что они передают смысл истории «совершенно правдиво». К такому выводу приходит Гейне в результате наблюдений не только над творчеством Шекспира и К. Имерманна, но и Шенка, В. Скотта, над памятником индийского эпоса — «Махабхарата». Гейне считает, что такие песни, как «Махабхарата», передают смысл индийской истории «гораздо правдивее, чем все составители компендиумов со всеми их хронологическими датами», а романы В. Скотта «передают дух английской истории гораздо вернее, чем Юм».

Как видим, Гейне отводит важное место способности поэтического созерцания, роли здоровой творческой фантазии в правдивом отображении тех или иных исторических событий; он считает, что в таких случаях могут быть определенные вольности и отклонения от исторической правды, но в целом достигается правдивое отображение духа истории. Так, например, он считает, что в имерманновской «Трагедии» многие внешние обстоятельства «вымышлены в достаточной степени произвольно, но сам герой, являющийся ее эмоциональным центром, создан грезой поэта в соответствии с истиной».

В рассуждениях Гейне о Шекспире, Имерманне, Шенке, В. Скотте и других красной нитью проходит мысль о том, что наличие творческой фантазии в значительной степени обеспечивает художнику реалистическое отображение духа той или иной исторической эпохи. Однако это не значит, что Гейне делает ставку только на созерцательную силу поэта, игнорирует значение изучения фактов в художественном творчестве. Сам факт, что художника, восполняющего пробелы истории, он сравнивает с математиком, по малейшему отрезку круга определяющим всю окружность, подтверждает невозможность приписать ему отрицание роли изучения эмпирических данных в художественном творчестве. Из всех рассуждений Гейне по данному вопросу явствует, что художественный процесс — это специфическая форма восприятия действительности, которое «происходит с помощью чувств».

В своих высказываниях по разным вопросам искусства Гейне придерживается мнения о необходимости накопления и изучения соответствующего эмпирического материала. Примечательно, что он остается верным этому принципу не только в теории, но и в своем художественном творчестве.

Чтобы понять сущность теории Гейне о восполнении в поэзии пробелов мира, важно уяснить его понимание самого понятия «восполнение». Считает ли он, что поэт вносит в отображаемый им мир явлений что-то, чего в нем нет? В конечном счете вопрос этот упирается в понимание отношения между отображаемым и отображенным в искусстве, в поэзии, в понимании проблемы художественного отражения.

Выводя положение о восполнении в поэзии пробелов мира преимущественно на материале творчества Шекспира, Гейне констатирует, что тот достигает верности и правдивости изображения как истории, так и природы («та же верность и правдивость, которые Шекспир проявил по отношению к истории, мы находим у него и по отношению к природе»). Следовательно, отображаемое в искусстве путем восполнения мира, по Гейне, соответствует отображаемому, является его картиной. Но каково это соответствие? Является ли оно копией отображаемой действительности? Конкретно, каково положение в этом отношении, по мнению Гейне, у Шекспира?

По этому вопросу Гейне высказывает два как будто противоречащих друг другу взгляда. С одной стороны, он готов осудить тех, кто может подумать, будто Шекспир «отражает природу в зеркале», считает, что подобное суждение «ложно передает отношение поэта к природе», ибо «в душе поэта отражается не природа, а ее образ». С другой стороны, по мнению Гейне, отраженная в душе поэта картина природы «вполне соответствует отраженной в зеркале картине».

Но противоречие это кажущееся. Главное в суждениях Гейне в данном случае — это возражение против сведения роли художника к простой фиксации фактов окружающей действительности. Он считает, что отраженное в искусстве не должно являться фотографией действительности, слепым подражанием природе. Правда, и в этих случаях Гейне не свободен от противоречий. В частности, он отдает дань идеалистической эстетике, когда отрицает правомочность утверждения автора «Итальянских исследований», считающего, что «художник должен все типы отыскивать в природе».

Влияние идеализма сказывается в том, что Гейне как это вытекает из его суждений о Шекспире, находит, что «душе поэта самые значительные типы являются путем откровения, подобные врожденной символике врожденных идей». Однако главное в данном случае то, что Гейне выступает против слепого подражания природе в искусстве, считая, что это умалит значение художника и идет, таким образом, во вред искусству. Не вообще не подражать природе, а не подражать слепо — вот что требует Гейне. Он хвалит художника Робера за то, что тот «не копировал природу, не следовал глупо честной манере иных своих коллег и не воспроизводил лиц с дипломатической точностью». В подлинных художественных произведениях, по мнению Гейне, отражается картина природы, но далеко не все черты отображаемой действительности. Истинный художник, такой как Шекспир, подбирает, классифицирует и изучает эмпирический материал так же, как естествовед или историк, но он не стремится и в интересах искусства не может уподобить созданный им художественный образ оригиналу. Гейне во всеоружии выступает как против разложения материального мира в искусстве, так и против идентифицирования материи и идеи, против слепого подражания природе, против метода фотографирования, уподобления. Его теория о восполнении в поэзии пробелов истории снова и снова подтверждает это.

Она убеждает нас и в том, что Гейне в своих теоретических построениях берет курс на преобразование, преодоление материального. Блестящим мастером такого преобразования материального в идеальное. Блестящим он считает Шекспира, сумевшего «поднять правду до поэзии», а также Робера, характерную особенность которого видит, во-первых, в том, что в его творчестве нет места разложению материи, что он берет свои фигуры из природы, вторых, в том, что он их не рисует «с дипломатической точностью», а перерабатывает и преобразовывает, освобождает от «земной грязи», чтобы они «вознеслись в небо искусства». За это Гейне и одобряет такие произведения Робера как «Жнецы» и «Пиферари».

Как видим, говоря о восполнении в искусстве пробелов мира, Гейне остается верным тому положению, что произведения подлинного искусства создаются не в результате отчуждения от реальной действительности, разложения материи и не вследствие слепого подражания природе, а благодаря преобразованию материального. Наиболее полный и правдивый охват действительности он и находит у Шекспира.

Но как все же совместить утверждение Гейне, что Шекспир дает наиболее полное и глубокое понимание мира явлений, с его же утверждением, что он восполняет его пробелы, не будучи уверенным в том, что здесь нет прибавления к реальному миру чего-то в нем не имеющегося? Ведь само понятие «восполнение», казалось бы, подразумевающее внесение художником в отображенный им мир чего-то в нем не имеющегося, должно исключать соответствие отображенной в искусстве и реальной действительности.

Оперировав понятием «восполнение», Гейне имеет в виду не внесение художником в реальный мир чего-то от себя, а постижение того, что дано как сущность, но не выявлено. Такое понимание понятия «восполнение» прослеживается в многочисленных других его рассуждениях по специфическим вопросам теории художественного отражения. В них также он придерживается мнения, что искусство определяется закономерностью материального мира, отражает действительность, но не все ее черты, а лишь основные.

Таким образом, положение о восполнении пробелов мира в системе художественных взглядов Гейне органически связано с тем, как Гейне понимает специфику художественного отражения, правдивое отображение реальной действительности. Отвергая натуралистический принцип в художественном отражении, Гейне дает понять, что искусство должно отражать не все черты действитель-

ности, а лишь ее основные, помогающие раскрыть ее сущность, Художественную манеру, подменяющую воспроизведение сущности внутренней природы отображаемой действительности внешней стороной дела, он квалифицирует как плоский стиль.

Наличие этой манеры, «изображающей вместо существа явления только его случайные черты», Гейне находит в современных ему романтических романах, которые за это и подвергает критике. Положительной же стороной изображенного Лизером в его картине Паганини он видит в передаче основных черт оригинала. Подобную способность Гейне отмечает и, можно считать, одобряет у старых мастеров, особенно у Гольбейна, Тициана и Ван Дейка. «Большой брат» Лессора привлекает его тем, что эта картина «говорит много меньшим числом штрихов». Шнетц же, по мнению Гейне, не первоклассный художник, поскольку, чтобы «сказать что-нибудь, ему требуется большое количество штрихов».

Из этих же предпосылок исходит Гейне в своем суждении о Франкони, оправдывая его за передачу не всех деталей аустерлицкого сражения. По его мнению, также оправдано наличие в его «Письмах из Берлина» основных штрихов действительности, благодаря которым отражается и суть явления, и отдельных частных моментов. Таким образом, при художественном отражении, по Гейне, надлежит делать ставку на основные признаки, на сущность передаваемой действительности, а не на отдельные фигуры, являющиеся чем-то к ней присоединенными.

Это не означает, что Гейне отрицает роль частного в искусстве. Он за единство общего и частного при определяющей роли первого. И его теория о восполнении в поэзии пробелов мира находится в полном соответствии с его пониманием отношения общего и частного в искусстве, основных вопросов теории художественного отражения. Другое дело, соответствует ли она его пониманию истории как науки, подтверждает или устраняет напрашивающийся вывод относительно апологии поэтического подхода к истории, принижения роли исторических сочинений. Нет как будто сомнения в том, что такой вывод вполне соответствует действительности.

Не следует упускать из виду, что, хотя Гейне и приписывает поэзии преимущество в понимании духа тех или иных исторических эпох, он усматривает его у поэтов не всех времен и направлений. Важно помнить также и то обстоятельство, что поэтический подход к истории, по мнению Гейне, таит в себе определенную опасность мистификации истории. Наглядное тому подтверждение его рассуждения об историке Мишле, которого он условно ставит рядом с такими историками, как Гизо и Тьерри. Гейне вовсе не склонен видеть в искусстве единственное при всех обстоятельствах надежное средство понимания истории. В ряде случаев преимущество в этом деле признается на стороне других сфер человеческой деятельности, в частности истории материальной культуры. Так, о похищенных из Луврского музея монетах Гейне пишет, что они были «высшей реальностью того времени», что с потерей их «часть древней истории прикарманена и расплавлена».

Как было отмечено выше, Гейне не первым указал на преимущество поэзии в понимании минувших исторических эпох. Еще Аристотель склонялся к его провозглашению. Поэзия, по Аристотелю, делает ставку больше на общее, история — на единичное. Это общее дает знать о себе в выяснении того, как поступил бы тот или иной герой, действуя по законам необходимости. Единичное же — в выяснении того, как поступил он в действительности. На основании этого Аристотель заключает, что поэзия более философична, чем история.

Так же и Гейне различает сферы поэзии и искусства. Причем в первой находит более благоприятные условия для понимания той или иной исторической эпохи. Гейне импонирует и утверждение Аристотеля о большей философичности поэзии по сравнению с историей. Но он расходится с ним в таком резком разграничении сфер поэзии и истории, ибо не считает, что писатель велик лишь в случае ограничения его сферой поэзии. Великий поэт, по его мнению, рисует не только характер фактов, но и их влияние на жизнь людей. Великий поэт более глубоко и всесторонне отражает дух истории, чем историк. Поэтому, по Гейне, он является и великим историком. Теория искусства Аристотеля же отрицает правомочность такого утверждения.

Не разделяя положения Аристотеля о строгом разграничении сфер поэзии и истории, поэзии и философии, Гейне считает, что наличие поэтического начала в историческом сочинении не умаляет его значения. С другой стороны, присутствие в художественном произведении исторического материала, по мнению Гейне, не лишает последнее его самостоятельности. Оперирование им в искусстве не только желательно, но и необходимо. И Гейне требует как от других, так, в первую очередь, и от себя scrupulousного изучения исторических фактов, чтобы иметь возможность сделать те или иные поэтические обобщения.

Как отмечалось выше, разработке гейневского положения о восполнении в поэзии пробелов мира определенным образом благоприятствовали теория и художественная практика романтизма, в частности творчество Новалиса. В своих теоретических, а равно и художественных произведениях он наряду с многими другими представителями раннего немецкого романтизма развил положение об универсализме искусства, поэзии, о преимуществе последней перед хроникой. Наиболее отчетливо это мнение высказывается устами одного из его героев. «Мне кажется, — говорит он, — что историк обязательно должен быть поэтом... В их сказках больше правды, чем в научных хрониках».

При всем сходстве взглядов Гейне и Новалиса об отношении искусства к истории нельзя не видеть в них и принципиального различия. В отличие от Гейне у Новалиса провозглашение преимущества поэзии перед историей видится на признании за ней всеобъемлющего, универсального характера. Основное различие в этом пункте между подходом Новалиса и Гейне сказывается в понимании природы самой истины. В теории искусства и в художественной практике Новалиса процесс поэтического воспроизведения истины носит сугубо мистический характер. Искусство, по его мнению, раскрывает миф жизни, тогда как в понимании Гейне оно раскрывает дух истории, выявляет реально существовавшее, но не всем доступное для понимания и отображения. По Новалису, то, что выявляет искусство в истории, по своему характеру лишено конкретно-исторического содержания. Он находит лишенным значения соответствующие явления, о которых повествует художник и которые имели место в реальной действительности. Положение же Гейне о восполнении в поэзии пробелов мира в корне исключает подобное понимание вопроса об отношении искусства к истории.

Так же резко расходится Гейне в этом вопросе и с Шлейермахером. Во-первых, говоря о восполнении мира в искусстве, Шлейермахер, в отличие от Гейне, имеет в виду не только историю, но и природу. И что самое важное, процесс этот он, вразрез с Гейне, рассматривает как прибавление художником к реальности чего-то, чего в ней не имеется. К тому же непродносимое нам искусством путем восполнения природы, по разумению Шлейермахера, находится «вне земного». Такое идеалистическое по своему характеру понимание отношения искусства к истории и природе в принципе отвергается в гейневской теории искусства. Согласно ей, восполнение мира означает выявление реально существовавшего, а не прибавление к нему художником чего-то от себя.

Как было отмечено, положение о восполнении в искусстве пробелов истории разделял и В. Гюго. Мы не располагаем данными, чтобы определить, в какой мере стимулировали и стимулировали ли вообще Гейне его взгляды по этому вопросу на создание рассматриваемой нами теории. Но если даже допустить, что, выдвигая ее, Гейне находился под впечатлением высказываний Гюго, все же следует думать, что его заинтересовала постановка, а не решение указанной проблемы великим французским писателем. Ибо Гейне дает совершенно иное толкование проблемы отношения искусства к истории, чем Гюго, вкладывает в понятие «восполнение мира» в корне другое, чем он, содержание.

Положение Гюго о восполнении в искусстве пробелов мира увязывается с основной идейной линией «Предисловия» как манифеста романтической драмы. Правда, Гюго не отгораживает искусство от реальности, он требует следовать исторической правде, но не приходится отрицать, что им выдвинута программа романтической, а не реалистической литературы. Гюго также за отражение в искусстве основных, а не всех черт действительности. Но, в отличие от Гейне, он требует отражения тех ее сторон, которые могут вызвать романтическую иллюзию. Гюго также считает, что искусство может восполнить пробелы мира, но в то время как Гейне вовсе не признает безусловно желательным их наличие, Гюго, наоборот, находит его желательным, обеспечивающим свободу поэта.

Теория Гейне о восстановлении целостности мира в поэзии находится в полном соответствии с основными принципами его теории искусства, носящей ясно выраженный материалистический характер, в полном согласии с его художественной практикой, знаменующей в немецкой литературе преодоление романтизма и возникновение литературы революционной демократии. В ней со всей очевидностью сказываются характерные особенности мировоззрения, эстетических воззрений Гейне — рядом с четко выраженным материалистическим миропониманием, которое играет определяющую роль, соседствуют пережитки идеализма в освещении узловых вопросов теории искусства. Можно считать, что положение Гейне о восстановлении целостности мира в поэзии и по сей день не потеряло своего актуального значения.

Рипсима ПОГОСЯН

Рипсима Погосян, известная армянская писательница и общественная деятельница, долгие годы жила в Тбилиси, активно участвовала в его литературной жизни. Она была близко знакома с виднейшими грузинскими и армянскими писателями конца XIX и начала XX века. Печатаемое нами воспоминание оживляет страницы ее дружбы с народным поэтом Грузии Иосифом Гришашвили.

«ПИРУЗ»

Я видела его еще в юные годы. Помню его удивительно чистые голубые глаза на бледном лице, за которые его еще с детства называли «Пирузом» («Бирюзой»). Среднего роста, подвижной, с неизменной связкой книг в руках проходил он по оживленным солнечным улицам Тифлиса — города, ставшего колыбелью его поэзии.

Да, он обожал старый Тифлис с его бытом, с неповторимыми традициями, нравами, романтикой, он стал его трубадуром.

Старый, восточный город, который уже начал европеизироваться, удивительно сочетал в себе новое со старым цветистым бытом. Тифлис был многонациональным. Здесь слились воедино быт и развивающаяся культура различных наций. Тифлис не был замкнутым городом в урбанистическом смысле. Он был, можно сказать, городом под открытым небом. Жизнь била ключом на площадях, улицах, в тенистых садах Ортачала... Веселым городом был Тифлис. Любил он кутежи и песни под сазандари, бубен и зурну до рассвета, до «меоре супра» (до «второго стола», когда уже на рассвете убирали остатки пиршества, меняли скатерть и перед гостями появлялась новая белоснежная скатерть со вкусно пахнущими закусками).

В Тифлисе и праздники были всеобщими. Новый год с его традиционными кутежами, с гуляющими по дворам и играющими на шарманке кинто, с фокусниками, дающими представление «Петрушки», что по существу было примитивным кукольным театром, с канатоходцами...

А масленица с ее цветистым маскарадом, сидящими на убранных коврами верблюдах и ослах трубачами, с музыкантами, играющими на бубне и зурне, с поющим и танцующим народным шествием.

Именно этот старый и неповторимый Тифлис стал неисчерпаемым источником вдохновения для Гришашвили в первый период его творчества. (Гришашвили — сын Гриши — такой псевдоним избрал себе поэт).

Скорее факелы! Живей зажечь ракеты!
Накройте стол! И будут пусть одеты
Коврами стены все. Позвать сюда кутил,
Сказать, что поп уж явства освятит...

Так начинается он свое стихотворение «Свадьба в старом Тбилиси».

Он воспевал в своих стихах аромат и нежность весны в родном городе, любовь тифлисских красавиц с миндалевидными глазами лани.

Я слышала их на языке оригинала в исполнении моего мужа, в совершенстве владевшего грузинским, и они стали родными и близкими моему сердцу.

Мои первые впечатления о поэзии Гришашвили незабываемы. Позже, когда из рассказов мужа, бывшего его близким другом, я узнала о жизни и литературной деятельности Гришашвили, у меня сложилось вполне определенное представление об этом своеобразном поэте.

Была я знакома и с монографией Гришашвили о Саят-Нова, которую он подарил моему мужу с трогательной дарственной надписью. В этой монографии

глубокий знаток Саят-Нова, разбирая творчество знаменитого ашуга, подробно останавливается на его грузинских песнях.

Это было моим заочным знакомством с Гришашвили.

Правда, я встречала его на оживленных улицах Тифлиса и даже сидела с ним за одним пиришественным столом, когда члены нашего литературного объединения «Цех поэтов» были приглашены к Ованесу Туманяну в день 50-летия великого лоринца. Здесь, среди многочисленных гостей, Гришашвили вряд ли мог заметить молодую тогда, начинающую поэтессу. Так думала я...

Прошли годы. Однажды, было это в середине 20-х годов, в нашей квартире появился Гришашвили с большой папкой под мышкой. Мой муж Ваня, представляя меня, сказал: «Познакомься, моя жена, она страдает той же болезнью: пишет любовные стихи...». Гришашвили галантно поцеловал мне руку и улыбнулся: «А я Вас помню. В доме Ованеса Туманяна на юбилейном банкете Вы на русском языке читали свои стихи — оду, посвященную нашему любимому другу...». На миг его ясные глаза затуманились, потом он продолжал: «Я в долгу перед ним, перед нашим Ованесом. Вот из-за этого я и пришел к Ване...».

Мне была известна цель его посещения. Гришашвили хотел выполнить данное однажды Туманяну обещание перевести его стихи на грузинский язык и просил Ваню сделать ему подстрочники.

Каждый вечер в течение целого месяца я видела две склоненные под белым абажуром головы занятых кропотливым трудом друзей. Я теперь затрудняюсь перечислить названия тех произведений, подстрочники которых сделал Ованес Погосян.

С неподражаемым мастерством, оставаясь верным оригиналу, язык которого он называл «мягким, как бархат, твердым, как мрамор», перевел Гришашвили стихи Туманяна и в 1924 году преподнес грузинскому читателю сборник «Избранных произведений Туманяна». Это было его «духовным тостом», увековечившим имя его давнишнего друга и сделавшим великого армянского поэта родным и близким братскому грузинскому народу.

Этому «духовному тосту» предшествовало стихотворение Гришашвили «Другу Грузии», написанное на смерть Ованеса Туманяна, в котором он ставит Туманяна в один ряд с литературными гигантами.

...И солнце колосом приклонится к закату,
раздвинет пред тобой завесу мир иной,
и встретят у ворот бессмертного собрата
Гомер, Фирдуси и Руставели мой,

(Перевод П. Карабан)

В течение своей жизни Гришашвили не раз обращался к армянской литературе. К числу лучших страниц литературного наследства талантливого поэта относятся переводы из Саят-Нова и Туманяна, Ованеса Ованесяна, Аветика Исаакяна, Аюпа Аюпяна и других.

Гришашвили был желанным гостем на земле Армении. Вспоминаю нашу встречу осенью 1939 года (в незабываемые дни празднеств в честь 1000-летия эпоса «Давид Сасунский») в вестибюле гостиницы «Севан». Опять какая-то связка книг под мышкой... Пожимает мою руку и улыбается своими чистыми глазами, такими знакомыми и родными... Вспоминаем Тифлис. Нашу маленькую квартиру и свой кропотливый, иногда продолжающийся до поздней ночи совместный с моим мужем труд.

Вспоминаются еще несколько приятных встреч в те праздничные дни: торжественное заседание в театре и традиционный банкет в светлом зале построенной заново гостиницы «Севан», где среди других гостей Гришашвили занял свое почетное место.

Вот позже он присоединяется к группе писателей, танцующих «Кочари», и рука об руку с другими с усердием старается не отстать от убыстряющегося темпа кругового танца. Как сейчас вижу его склоненную к правому плечу голову с гладкой прической и беззаботную открытую улыбку на лице.

И на этот праздник дружественного армянского народа принес он голос своего сердца, написав как посвящение 1000-летнему юбилею Давида Сасунского стихотворение «Мухамбази Армении», которое заканчивается словами:

Я огнем высек песню,
Яркий свет в моем запеве,
Дружба — кладезь драгоценный,

А вражда — тряпья дешевле.
С кяманчой¹ иду вперед я,
Героизм в моем напеве, —

¹ Кяманча — восточный струнный музыкальный инструмент вроде скрипки.

Я, старинного Тбилиси
Неумолчный песнопевец,

Молод сердцем, только волос,
Будто иней, серебрится.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

(Перевод Б. Серебрякова)

В сентябре 1945 года Гришавили приехал в Ереван для участия в вечере, посвященном 150-летию со дня смерти Саят-Нова. Позже в своей статье «Крепнут связи» он писал:

«На полке моей библиотеки есть одна книга, изданная в 1914 году. Это сборник песен непревзойденного армянского поэта Саят-Нова, написанных на грузинском языке. В книге около 30 стихов, которые до этого не были известны грузинским читателям. Эти стихотворения собрал, отредактировал и подготовил к печати я. После этого прошло почти 30 лет, и вот я в сентябре 1945 года в Ереване. Это не первое мое посещение столицы братской Армении. На этом вечере мне как исследователю грузинских стихов Саят-Нова было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Армении...

Должен сказать, что когда в моей исследовательской работе встречались трудности, много раз мне помогали мои лучшие друзья — гордость армянской литературы Ованес Туманян и выдающийся армянский художник Геворг Башинджяган».

С последним Гришавили был близок с 1910 года. Об их дружбе мне рассказывала старшая дочь Башинджягана — Арпеник:

«Они были близки духовно. Оба любили поэзию до самозабвения, оба благовели перед Шота Руставели и Саят-Нова.

Молодой Гришавили впервые пришел к моему отцу, чтобы поговорить об одном абзаце из «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. Отец отлично владел грузинским языком и знал бессмертное произведение Руставели наизусть».

Неизменный друг армянского народа, Гришавили в 1948 году присутствовал еще на одном торжестве, посвященном 100-летию со дня смерти автора романа «Раны Армении» Хачатура Абовяна.

Не с пустыми руками приехал к нам Гришавили. Он написал два стихотворения — «В Советской Армении» и «Автору «Ран Армении», в которых оплакивал горькое прошлое нашего народа и, отдавая должное памяти великого просветителя, выражал свое восхищение цветущей Арменией.

И армянский народ не остался равнодушным к творчеству Иосифа Гришавили. Будучи нашим гостем, он много раз видел свои лучшие произведения переведенными нашими поэтами и изданными отдельными сборниками.

Я имела счастье быть в числе переводчиков стихотворений Гришавили. С любовью и большим напряжением сил выполняла я эти приятные обязанности.

Каждый раз, встречаясь со мной, Гришавили считал своим долгом сказать слова похвалы и благодарности в адрес моей скромной работы. Делал он это с такой сердечной теплотой, что и после расставания я еще долго находилась под впечатлением его обаяния.

Помню его с чашей вина в руках, говорящим теплые слова на банкете в доме тифлисца, известного художника Гиго Шарбабчяна. На этом обеде присутствовали и мы — я и мой муж, который в то время был директором Тифлисского армянского драматического театра и председателем его художественного совета.

В этот день в доме Шарбабчяна было много армян, приглашенных после премьеры его пьесы «Халхи нокар» («Слуга народа»).

Постараюсь восстановить те подробности, которые неумолимое время еще не стерло из моей памяти и которые относятся к постановке пьесы «Слуга народа».

Было апрельское утро 1929 года. Огромное панно украшало парадный вход Тбилисского армянского театра. На полотне был изображен великий певец любви Саят-Нова, вокруг него — цветущий сад, только что распустившиеся кусты роз. Сам он, одетый в пеструю одежду, скрестив ноги, сидит на тонкотканном персидском ковре.

Великий ашуг изображен в момент творческого вдохновения. Он прижал к груди свою неразлучную кяманчу, у ног его — инкрустированная перламутром ашкатаулка, на которой лежит книга, рядом — чернильница и перо. А за деревьями в розовом шелковом платье, с ажурной кружевной чикилой¹ на голове спрята-

¹ Чикила — часть национального женского головного убора.

лась та, которой в этот миг вдохновения посвящал свои любовные строки Саят-Нова...



Автором этого яркого анонса был сам Шарбабчян.

Шарбабчян, хороший знаток старого Тбилиси, на своих полотнах много изображал свой родной город, его быт и нравы с неповторимым, своеобразным колоритом. А теперь он попытался и своей пьесой представить на сцене старый Тифлис и на этом фоне — жизнь бессмертного Саят-Нова.

Правда, пьеса как первая драматургическая попытка Шарбабчяна была не без изъянов, но в апреле 1929 года Тбилисский армянский театр осуществил ее постановку, и спектакль «Слуга народа» несколько лет с неизменным успехом не сходил со сцены. Автору удалось в определенной степени оживить в своей пьесе поэтический образ Саят-Нова и ту социальную среду, в которой жил и творил великий ашуг.

В пьесе показаны быт старого Тифлиса, жизнь и борьба ремесленников.

Осуществил постановку пьесы режиссер Аршак Бурджальян, брат известного актера Московского Художественного театра — Георгия Сергеевича Бурджалова. Спектакли в постановке Аршака Бурджальяна шли в драматических театрах Тифлиса, Еревана, Баку и на сцене нашего оперного театра.

Со свойственным яркой талантливой личности стремлением к новаторству Бурджальян предложил свое творческое решение лучших образцов драматургии как классической, так и современной.

В конце 20-х годов, когда директором-руководителем художественного совета Тифлисской армянской драмы был Ованес Погосян, Бурджальян часто бывал у нас дома на обсуждениях вопросов постановки отдельных спектаклей. В этих обсуждениях, кроме моего мужа, Бурджальяна и Гиго Шарбабчяна, который был художником театра, принимали участие и другие члены художественного совета. В эти годы я тоже всеми силами старалась быть полезной театру. Некоторые пьесы я переводила с армянского на русский язык, и эти русские переводы помогали Бурджальяну лучше понимать текст пьесы (Бурджальян неважно владел армянским языком). С этой же целью я перевела «Слугу народа» Шарбабчяна. До сих пор не стерлись из моей памяти лирическая сцена объяснения в любви между Саят-Нова и его любимой Сона, которое происходит во дворце царя Ираклия, сцены состязания ашугов на площади под открытым небом и жестокого убийства Саят-Нова.

В этих последних действиях как режиссер, как постановщик массовых сцен Бурджальян был неповторим.

Внешнее оформление пьесы принадлежало Гиго Шарбабчяну, совместная работа которого с художником В. Ивановым создала ясный, непринужденный и одновременно очень приятный спектакль.

Музыкальное сопровождение для «Слуги народа» написали, взяв за основу мелодии песен Саят-Нова, талантливый кяманчист Саша Оганезашвили и композитор Паниев.

Во время первого спектакля зал театра был переполнен любящей театр тифлисской публикой, которая бурными аплодисментами вознаградила и постановщиков, и автора пьесы, и актеров.

После спектакля мы по приглашению Шарбабчяна собрались в его гостеприимном доме, чтобы отметить успех его пьесы.

Интересной, неповторимой личностью был сам Гиго Шарбабчян. Коренастый, несколько полный, но удивительно подвижный, он будто вечно куда-то спешил. Говорил он скороговоркой, слово за словом и целые предложения были у него в вечном состязании между собой. Во время разговора он не разлучался со своей трубкой.

Муж мой Ваня звал его «Самоваром келехи» (самовар на поминках), потому что он дымил и фыркал, как кипящий самовар. Шарбабчян по натуре был веселым и добрым и не обижался на такую невинную шутку. Каждый раз на остролюбие Вани он только громко хохотал... В Шарбабчяне удивительно сочетались сущность европейски образованного человека и характер тифлисского мокалаке¹. Человек высокой культуры, повидавший свет, он до самозабвения любил Тифлис, подробно изучил прошлое родного города и на своих стилизованных полотнах изображал жизнь и быт старого Тифлиса. Из его полотен особо нужно отметить знаменитую «Кееноба» (празднование масленицы в Тифлисе).

И вот в доме Гиго Шарбабчяна собрались люди, как и он, влюбленные в Тифлис. Здесь были участники спектакля «Слуга народа» — актеры Давид Малян, который исполнил роль Саят-Нова, Арус Асрян — исполнительница роли Сона, Вавик Варганян — исполнитель роли поэта Бесики, Геворк Ашугян — ученик Саят-Нова и другие.

¹ Мокалаке (груз.) — горожанин.



В этот примечательный для Гиго Шарбабчяна день в числе дорогих гостей был и Гришашвили. Вот он поднимает полную вином хрустальную чашу и идуце 1933
 живо предлагает тост за здоровье «драматурга» Гиго. «Я свои первые драматургии 1933
 жизни делал на сцене театра. Моим университетом был театр, — говорит Гришашвили. — Я был суфлером, переводил пьесы. Даже сам написал пьесу. Все это было на заре моей жизни, и ты тоже, добрый Гиго, к полудню своей жизни попытался сделаться драматургом...

...Я остался поэтом, и ты останешься художником...» — улыбаясь, закончил свою речь Гришашвили.

Слова Гришашвили оказались пророческими. Несмотря на успех, «Слуга народа» остался первой и единственной попыткой Шарбабчяна в области драматургии.

Тост Гришашвили был встречен бурными аплодисментами. По просьбе участников ужина этот тост виртуозно «оформил» кяманчист Саша Оганезашвили, близкий друг Шарбабчяна. Он был известным музыкантом, краеведом, композитором и педагогом. Вся его музыкальная деятельность была связана с культурной жизнью народов Закавказья.

В музыкальной студии при «Айартун» его усилиями было основано восточное отделение. Здесь на высоком уровне было поставлено дело изучения восточной музыки, ее классических форм и принципов.

В двадцатых годах я имела счастье много раз слушать непревзойденную виртуозную игру Саши Оганезашвили на музыкальных вечерах, организовывавшихся в «Айартуне» и в различных концертных залах Тифлиса. Чисто и благородно звучали в его исполнении идущие из глубины веков чарующие восточные мелодии. И вот в этот день в доме Гиго Шарбабчяна прозвучала кяманча Оганезашвили. Артистическая внешность, изящные движения руки и поющая под его тонкими пальцами кяманча очаровали всех. Как задушевно и чисто звучали те мелодии, которые были положены в основу музыки к пьесе «Слуга народа». Когда умоляла украшенная перламутром кяманча, снова взял слово Гришашвили. Он был так взволнован, что у него дрожала рука, державшая чашу с вином. Он предложил тост за здоровье Оганезашвили: «В жизни очень мало счастливых минут. Такие, как те, которые мы только что пережили, возможно, не повторятся никогда. Запомним же этот день и благословим Сашу, который подарил нам сказочные минуты...».

С тех пор прошли десятки лет, но часто я вспоминаю тот восхитительный, неповторимый вечер...

Был тихий полдень осени 1930 года. Я в доме грузинской поэтессы Мариджан, в ее со вкусом обставленном, убранном коврами кабинете, у маленького письменного стола. Мы склонились над бумагами и пишем. Она — по-грузински, я — по-армянски. Иногда мы прерываем работу, совещаемся. Немного спорим, соглашаемся и снова пишем.

Нам обоим редактор журнала «Накадули» Нино Накашидзе поручила написать книгу для детей под заглавием «Шелк», в которой мы доступным языком должны были рассказать о процессе получения шелка, вернее, шелковой нити, начиная с ее зарождения — с шелковичного червя до превращения гусеницы в кокон. Потом нужно было описать весь процесс получения шелковой ткани.

Цветная иллюстрация, которую выгравировали на камне художники Давид Кутателадзе и Екатерина Пушкина, уже была готова, и нам нужно было написать стихотворный текст к уже сделанным рисункам. Мариджан должна была писать по-грузински, а я — по-армянски. Для каждого рисунка не более четырех строк.

Положение мое и Мариджан было довольно трудным, так как нас сковывал этот готовый цветной «трафарет».

Несмотря на сковывающие нас обстоятельства, нам с Мариджан нравилась эта «коллективная» форма творчества, которая сближала нас. Обе мы работали в области детской литературы, печатали стихи в журналах, издаваемых для детей, часто встречались со школьниками, декламируя для них свои стихи. Мариджан — эта красивая стройная брюнетка с тонкими чертами лица, крупными выразительными глазами и бледной матовой кожей — была удивительно приятным человеком, с простым и добрым характером. Наша совместная работа затянулась на три недели.

Мы жили близко друг от друга — в одном квартале Сололаки. Каждый день к двенадцати часам я шла к Мариджан, и мы, пройдя в ее кабинет, продолжали писать историю появления на свет шелестящего шелка.

У Мариджан я несколько раз встречала Гришашвили, который посвятил ей ряд трогательных стихотворений (некоторые из них переведены на армянский язык). Они были большими друзьями. Поэзия слила воедино их интересы. У

них сложилась красивая дружба, основой которой была, конечно, поэзия и вытекающая отсюда духовная близость.



Прошли годы, и я, к счастью, снова встретилась с Гришашвили и Мари-джан.

В начале лета 1959 года состоялся очередной съезд писателей Грузии. От Союза писателей Армении в качестве гостей на этом съезде присутствовали я и Вахтанг Ананиян. Мне было поручено приветствовать съезд писателей Грузии.

На съезде из женщин были я и поэтесса и переводчица из Латвии Валя Брутанэ.

Несколько дней мы — я и Валя — жили в тбилисской гостинице «Тбилиси» в одном номере, и в моей памяти незабываемой осталась эта замкнутая, в высшей степени культурная латышка.

Меня и Валю от Союза писателей Грузии сопровождали поэтесса Мари-джан и драматург Марика Бараташвили, которые в дни съезда не разлучались с нами. Мне было приятно снова встретиться с моей старой приятельницей. Часто к нам присоединялся и Гришашвили. Он заметно изменился. В гладкой причёске появилось серебро, и беспощадное время избородило его высокий лоб морщинами. Но прежними были его торопливая походка, изящные движения и свойственная ему тихая улыбка. А под мышкой — опять книги!

Известно, что Гришашвили, страстно влюбленный в книгу, собрал богатейшую библиотеку, около шестидесяти тысяч томов. Перед смертью он преподнес ее в дар АН Грузинской ССР, своему родному народу.

Это книжное богатство находилось в старой квартире Гришашвили, в тифлисском квартале Харпухи, очень близком к той церкви, под стенами которой был убит Саят-Нова...

Гришашвили был постоянным посетителем всех книжных магазинов, главным образом букинистических. Он мог, опираясь на прилавок книжного магазина, часами перелистывать страницы какого-либо издания. Его знали продавцы книг многих других городов и, когда к ним попадала какая-то редкая книга, обязательно извещали об этом Гришашвили.

В его библиотеке были собраны все издания «Витязя в тигровой шкуре» Руставели и полные комплекты исследований об этом бессмертном произведении.

На одной полке библиотеки Гришашвили были заботливо расставлены и многие издания «Евгения Онегина» Пушкина. Это последнее обстоятельство свидетельствует о том, как хозяин библиотеки любил великого русского поэта.

«Я познал мир благодаря книгам, — говорил Гришашвили. — Книга спасла меня и сделала человеком...»

И вот, увидев на съезде Гришашвили со связкой книг, Мари-джан пошутила: — Книги, опять под мышкой книги! Хорошее средство нашел для защиты от женщин! Тебя невозможно даже взять под руку...

Гришашвили, оправдываясь, бормотал: «Не мог не купить... Новые издания...».

В дни съезда, беседуя со мной, Гришашвили выразил соболезнование по поводу преждевременной кончины моего мужа.

Это была моя последняя встреча с Гришашвили. В 1964 году, когда отмечалось 75-летие со дня рождения Гришашвили, я послала ему поздравительную телеграмму. Вот она: «Уважаемый Иосиф Григорьевич, поздравляю вас — верного друга армянской литературы, непревзойденного переводчика Ованеса Туманяна, старого мокалаке «Пируза» со славным семидесятилетием. Пусть продлится ваш творческий путь, по которому вы шагаете «окрос пехит» (золотой ногой)... Уже после того, как телеграмма была отправлена, мне стало известно, что Гришашвили тяжело болен и прикован к постели.

Прошел еще год, и в августе 1965 года навсегда закрылись ясные глаза незабвенного трубадура Тифлиса...

И пусть памятником поэту всегда будет четверостишие, в котором поэт обращается «К самому себе»:

Пиши стихи, песнь звонкую любя,
цена апрель, июль, пришедший в срок,

но каждым утром спрашивай себя:
«Чем родине сегодня ты помог?»

(Перевод Г. Цагарели)

Абдулла Шайх Талыб-Заде, классик азербайджанской литературы и виднейший деятель народного образования, родился и вырос в Тбилиси. Его воспоминания о культурно-литературной жизни дореволюционного Тбилиси, являющимся культурным и административным центром Закавказья, содержат много интересных сведений.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

ТИФЛИС

Память ребенка подобна чистому зеркалу: все в нем отражается так, как оно есть. Воспоминания детства неизгладимы, даже долгие, богатые событиями годы не затушевывают их. В старости мы вспоминаем ранние впечатления о жизни и на легких крыльях воспоминаний преодолеваем далекие расстояния во времени и пространстве.

Люди, которых встречал я в детстве, события, невольным свидетелем которых я был, сказки и дастаны, которые так часто слушал застав дышать, — все это и поныне живо в моей душе. Я отчетливо помню даже незначительные события далекого прошлого, как будто сейчас, на 72-м году своей жизни, вижу, слышу, чувствую их...

Город Тифлис, где я родился и провел детство, окружен высокими горами, склоны которых украшены зелеными лугами. Дивные берега Куры, разделяющей город на две части, похожи на зеленый бархатный ковер; высокие, могучие деревья, словно, стремящиеся скрыть город в листе своей зелени, придают ему особое очарование. Великий азербайджанский поэт XVIII века Вагиф свои первые впечатления о Тифлисе выразил в следующих словах:

«О, сколько стройных красавиц в этом дивном саду!
 Всюду вокруг нежные цветы раскрыли объятия».

Тифлис в то время являлся административным центром Закавказья. Здесь была резиденция царского наместника, управляющего не только Закавказьем, но и Дагестаном. Административная роль Тифлиса давала возможность для более тесных связей его с Россией, и именно поэтому благотворное влияние русской культуры сказалось здесь раньше, чем где-либо. В Тифлисе было множество культурно-просветительных учреждений: уже во второй половине XIX века действовали театры, средние и высшие учебные заведения. Как известно, именно этот город сыграл немалую роль в формировании мировоззрения таких выдающихся сынов азербайджанского народа, как А. Бакиханов, Мирза Шафи Вахех, Мирза Фатали Ахундов.

Тифлис был неразрывными узами связан с социально-политической жизнью народов всего Закавказья. Здесь находились организации и духовные управления, руководившие более или менее значительными культурно-просветительными очагами мусульман Закавказья и Дагестана. В Тифлисе были созданы два духовных управления во главе с муфтием и шейх-уль-исламом. Муфтий руководил суннитами. Шейх-уль-ислам — шиитами. Каждый из них имел по два заместителя и по два секретаря, ведших дела на русском и азербайджанском языках, и по одному счетоводу. Казы и муллы, назначенные в городах и губерниях, подчинялись этим духовным управлениям, а последние — непосредственно наместнику Закавказья. По указанию наместника в Тифлисе была открыта шестиклассная школа под наблюдением шейх-уль-ислама и муфтия. Занятия велись на русском языке по программе шестиклассных русских школ. Кроме того, здесь изучались азербайджанский и фарсидский языки, арабская грамматика.

Отец мой, Ахунд Мулла Мустафа, по роду своей деятельности связанный с духовными управлениями и школой, жил в Тифлисе.

ՀԱՐՈՅՑՆԵՐ
ՅՈՒՆԵՍԿՈՒՅԵՆ

РАДОСТЬ СРЕДИ ГОРЯ

12 февраля 1881 года я появился на свет. Мне дали имя покойного брата Абдуллы, чей погасший светильник жизни я как бы вновь зажег в доме.

Отец мой, Ахунд Мулла Мустафа Сулейман-Оглы, уроженец селения Сарбан Борчалинского уезда, работал тогда заместителем кази Тифлиса и получал 25 рублей в месяц. Несмотря на нужду, он подарил 5 рублей тому, кто первым сообщил ему о рождении сына. Спустя две недели после этого радостного события отца назначили заместителем шейх-ислама в духовном управлении, и наше материальное положение немного улучшилось.

Отец по своей натуре более походил на народного учителя, чем на служителя культа. Он не принадлежал к числу ограниченных, суеверных священнослужителей, далеких от дум о народе, об эпохе. Он был предан своим служебным обязанностям, кристально чистен, справедлив. В шестиклассной школе он преподавал шариат, фарсидский язык и арабскую историю. Все учащиеся любили его и называли «Ахунд ами».

Мама рассказывала, что Мирза Фатали Ахундов часто встречался с моим отцом. Он жил недалеко от нас и почти каждое воскресенье приходил побеседовать с отцом. У отца была богатая библиотека. По словам матери, Ахундов пользовался ею. Большинство книг было религиозного содержания и касалось вопросов теологии. Очевидно, прежде чем подвергнуть убийственной критике исламскую религию и догмы шариата, Ахундов изучил основы данной религии и именно с этой целью пользовался книгами отца. Однажды мать спросила у отца: «О чем это вы так спорите с гостем?». Отец, глубоко верующий человек, ответил ей: «Каждый раз он заводит речь о вере. Слов нет, это очень умный, знающий, полезный человек, жаль только — безбожник».

Отец всей душой ненавидел беков. Он был свидетелем того, как в его родной деревне Сарбан беки расправлялись с бедняками, и, когда речь заходила о них, отец часто повторял двустипше на фарсидском языке: «Когда у собаки вырастают зубы, она становится беком, а бек, у которого выпадают зубы, становится собакой». Примечательно, что отец заставил и своих учеников выучить это двустипше.

Моя мать, Мехри, была женщиной простодушной, добросердечной, но глубоко суеверной. Как и многие женщины Востока, обреченные шариатом и старыми обычаями на безрадостную личную жизнь, она была отдана за отца, которого даже не знала. Бабушка моя Сенем из пятерых детей особенно любила Мехри, свою единственную дочь. Она без конца молилась за нее, дарила ей разные талисманы. В своей тревоге старуха дошла до того, что дала священный обет выдать дочь за сеида, если аллах сохранит ей жизнь. Сеид — почетный титул мусульманина, по представлениям верующих, ведущего свой род от пророка Магомета.

Отец как-то увидел Мехри, свою родственницу, и влюбился в нее. Но он знал об обете, данном фанатичной Сенем, знал, что соединить свою судьбу с судьбой Мехри будет нелегко. Сеид Мир Нейматулла-ага, к которому часто ходила старуха, чтобы помолиться, был близким другом моего отца. Отец рассказал ему о своем горе, и почтенный сеид вместе с моим отцом направился к старухе Сенем. Когда бабушка подала им сладкий чай, Мир Нейматулла-ага начал с ней откровенный разговор:

— Сенем-ханум, я впервые навещаю твой дом и этим я обязан очень важному делу. Если ты не исполнишь мою просьбу, я уйду, не выпив твоего чая. Я пришел как сват моего брата — Ахунда Мустафы и хочу, чтобы ты выдала за него свою дочь Мехри-ханум.

В ответ бабушка Сенем сказала:

— Ага, Мулла Мустафа не чужой нам человек. Он брат моей невестки. Но я дала священный обет, что выдам дочь за сеида. Могу ли я не выполнить это?

— Мулла и сеид почти одно и то же. И потом, если судьба Мехри-ханум, по твоему обету, зависит от воли сеида... Я сам сеид. И я отдаю твою дочь за брата Муллу Мустафу. Что ты можешь сказать на это? — спросил ее Мир Нейматулла-ага.

Бабушка была вынуждена согласиться. И только после этого Мир Нейматулла-ага размешал чай сперва в стакане моего отца, а потом в своем стакане и сказал:

— Да благословит вас аллах, будьте счастливы. А теперь насладимся чаем.



Мы жили в районе, населенном преимущественно азербайджанцами, в до-
ме некоего Фараджбека, на первом этаже двухэтажного дома. Наши окна смот-
рели во двор, а на втором этаже жил шейх-уль-ислам Мирза Гасан Таиров со
своим семейством. В этом же здании на первом этаже, только со стороны улицы,
помещалась шестиклассная школа, а на втором — духовное управление. На ле-
вой и правой сторонах двора, за оградой из тонких темно-зеленых досок, пышно
цвели кусты цветов. Шестиклассная школа, находившаяся под контролем
шейх-уль-ислама, была подчинена, как и все другие городские школы, Закавказ-
ской инспекции по просвещению в Тифлисе.

Я, будучи дошкольником, успел познакомиться и подружиться с учащими-
ся школы. Мы встречались во время перемены и вели забавные игры. Меня хоро-
шо знали и преподаватели школы, так как отец, работая в духовном управ-
лении, одновременно преподавал в школе.

В сентябре 1888 года, в первый день занятий, я вместе с другими детьми
вошел в классную комнату. Учитель не возражил, велел мне принести назавтра
учебник, тетради, карандаши. Это было величайшим радостным событием дет-
ских лет.

Преподавателей не хватало, и потому в одной комнате занимались три клас-
са. В трех первых классах преподавал Бахшалибек, а в других — Пашабек. Па-
шабек был кареглазый, худой, среднего роста, Бахшалибек — смуглый, высокий
и широкоплечий. Оба учителя носили бороды. Все в их облике и поведении, даже
то, как на перемене они прохаживались по коридору, тихо почтительно беседуя
друг с другом, внушало нам уважение и желание подражать им. Оба они были
выпускниками Горийской семинарии, давшей нам, нашему народу много дарови-
тых учителей. Они прекрасно владели русским языком, глубоко знали русскую
литературу и воспитывали в нас чувство горячей любви к ней.

Я очень любил своих учителей. Восхищенно преувеличивая все хорошее в
них, я не верил, что они такие же обыкновенные люди, как мы. Вдохновенно и
без усталости занимался я, стремясь заслужить их любовь. На рассвете я подымал-
ся с постели, повторял при свете лампы урок. И даже много лет спустя, уже сам
став учителем, я не мог забыть своих первых наставников и старался быть похо-
жим на них.

С детства я горячо любил литературу и знал наизусть много стихотворений
на азербайджанском и русском языках.

Немалую роль в этом сыграл учебник «Язык отчизны», составленный пре-
подавателем родного языка Горийской семинарии Сафаралибеком Велибековым и
инспектором семинарии Черняевским. Меня увлекали оригинальные стихи Га-
сумбека Закира, Гасанали Хана Гарадагского, и вместе с тем я с любовью вы-
учивал наизусть их переводы из Крылова, Пушкина и Лермонтова. Многое и ны-
не живо в моей памяти. Учителя мои знали, что я люблю поэзию, и в конце го-
да, во время экзаменов, они всегда предлагали мне читать наизусть стихи на рус-
ском и азербайджанском языках, что я с удовольствием делал.

Я был уверен, что стихи могут писать только ученые люди. Однажды нака-
нуне экзаменов я попросил отца написать стихотворение. Мне хотелось препод-
нести его на экзамене своим учителям.

— Я не поэт, сынок, — сказал отец, смеясь. — Стихи пишут поэты.

Мне казалось, что отец просто отмахивается от меня. Я не отступал.

— Ты ведь умный, если ты не можешь писать стихи, то кто же их мо-
жет писать?

Отец объяснил мне, что поэт и ученый — совершенно разные понятия, и я
в отчаянии опустил руки. Отец обнял меня:

— Ладно, сынок, завтра я попрошу в управлении, чтобы Мирза Ахмед пе-
реписал для тебя хорошее стихотворение.

Мирза Ахмед Сальяни был секретарем духовного управления. У него был
такой красивый почерк, что некоторые любители специально заказывали ему
переписывать тексты стихов на больших плотных листах бумаги, а затем разве-
шивали их в рамках на стенах. Радости моей не было предела: через несколько
дней отец принес обещанное стихотворение, и оно очень понравилось учителям.

В те времена бывало так, что в одном классе занимались дети разного воз-
раста. Вместе со мной, например, учился некий Гусейн — молодой человек два-
дцати-двадцати двух лет, очень высокого роста. Парень он был простой, чисто-
сердечный, общительный и очень хорошо пел, обладая красивым теплым голосом.

Однажды наш учитель Бахшалибек опоздал на урок. Все говорили, что уро-
ка не будет. Ребята громко разговаривали, смеялись, кто-то из учащихся написал
мелом на доске двустихие. Мы даже не заметили, кто это сделал, и вдруг в две-

рях появился Бахшалибек. Он прошелся по классной комнате и, заметив двустихишие на доске, побагровел. На доске было написано:

Пусть погибнет русский царь,
Кровожадный государь.

3473330
3030000333

Разъяренный учитель долго и безуспешно старался найти автора этих строк. Наконец поняв, что ему это не удастся, Бахшалибек сказал:

— Раз вы не хотите сказать, кто это написал, три дня будете сидеть в классе до вечера голодными, как узники!

В конце последнего урока он вызвал школьного сторожа Насира и приказал держать нас в заточении до пяти часов вечера. Учащиеся других классов, смеясь и беспечно болтая, расходились по домам, и мы с тоской и завистью глядели на них из окон.

Насир убирал другие классные комнаты. Гусейн казался оживленнее других. Он уселся на свое место, надвинул папаху на брови и тихо запел. Ребята окружили его и слушали с удовольствием. Вдруг вошел Бахшалибек. Очевидно, он услышал голос Гусейна. Мы испугались, что из-за пения Гусейна нам придется понести большее наказание. Учитель обвел глазами весь класс, потом повернулся к Гусейну и сказал:

— Гусейн, ты умный парень, я хочу посоветоваться с тобой.

Гусейн покраснел от смущения и спросил:

— О чем, учитель, вы хотите посоветоваться со мной?

Бахшалибек засмеялся:

— Я хочу освободить ребят. Что ты скажешь на это?

Гусейн засиял:

— Учитель, дорогой, вы совершите доброе дело, к чему здесь мои советы?

Мы радостно собрали свои учебники и стояли наготове. Учитель кинул взгляд на доску. Двустихия там уже не было, кто-то его стер. Но из памяти моей, из сознания оно не было стерто.

ФАНАТИЗМ

Большинство азербайджанцев, проживающих в Тифлисе, составляли эмигранты из Иранского Азербайджана, покинувшие свою родину, изнуренные физически и душевно искалеченные жестоким гневом шахской тирании. Местные азербайджанцы встречали братьев и сестер по крови с чувством любви и уважения. Они говорили на том же языке, у них были те же нравы и обычаи. В потоке этих эмигрантов в Тифлис прибывали муллы и сеиды, гадалщики и дервиши, которые способствовали распространению среди местного населения реакционных нравов, суеверий и фанатизма.

Передовая интеллигенция, главным образом преподаватели гимназии и городских школ, пропагандировала русскую культуру, достижения передовой науки, а приезжие представители мусульманского духовенства в тесном союзе с местными реакционерами вели пропаганду против русских школ, проклинали с высоты минберов (кафедр в мечетях) тех, кто отдавал своих детей в школы, где занятия велись «по новому методу», сулили им муки ада, призывали отдавать своих детей в моллаханы (духовные школы). Таким образом, новая передовая культура развивалась в непримиримой борьбе с реакционными взглядами и устоями.

Религиозные представления, суеверие и фанатизм прочно сидели в сознании народа, значительная часть которого была безграмотна. Отсталые люди верили не только духовенству, но и гадалщикам, колдунам. В трудные минуты жизни они обращались к предсказателям, просили у сеида написать молитву, делали подношения святым, ходили в священные места. Помню, отец рассказывал, что в саду Мир Нейматуллы было огромное ветвистое тутовое дерево. Однажды соседка Мир Нейматуллы темной ночью увидела под этим деревом светлячка и приняла его за горящую свечу. А утром она всем стала рассказывать, что целую ночь до утра под деревом святого сеида горела свеча. Вечером следующего дня эта женщина сама зажгла под деревом свечу. Так самое обыкновенное дерево превратилось в священный очаг, и со всех сторон потекли к нему люди с подношениями. В конце концов дерево почему-то высохло, и тогда, чтобы продлить жизнь священного очага Мир Нейматуллы-аги, на месте тутового дерева построили огромный купол. Вот как возникла одна святыня.

Шайтан-базар, что в переводе означает Рынок дьявола, был одним из самых бойких мест Тифлиса. В двух-трех местах его находились чайханы. С утра



до вечера они были полны посетителями — люди сидели часами за стаканом чая, слушали сказки дервишей, песни ашуггов, смотрели, как фокусничают дервиши со змеями. Копоть самоваров и горький дым калянов густым туманом заволакивали чайхану. Каждый раз, проходя мимо такой чайханы, я невольно останавливался у ее порога и наблюдал за дервишами, рассказчиками и факирами, за клиентами, утопавшими в табачном дыму.

Если чайхана Шайтан-базара была местом развлечения мужчин, то бани Тифлиса являлись своего рода клубами для женщин, где они встречались, обсуждали новости. Сюда, в баню, приносились еда, фрукты, здесь азербайджанские женщины, эти домашние узницы, проводили свой досуг. Здесь матери намечали и оговаривали брачные союзы своих детей.

В те времена, когда учеба стоила больших денег и не всякий мог поступить в школу, определенная часть тифлисской молодежи не училась и проводила свои дни в безделье (работы тоже было не на всех), устраивая бои петухов и баранов или проводя на площадях состязания по борьбе, а то и просто затевая драки. Лишь позже понял я, что подобные «развлечения» являлись ничем иным как проявлением невежества и отсталости. Подумать только, на что люди тратили драгоценное время, до какого уродства доводило их мракобесие!

Однажды вечером мать накормила, напоила нас и уложила спать. Я еще не успел уснуть, как вдруг с улицы донесся страшный шум. Казалось, весь город встал на ноги. Всюду стреляли, кричали. Я быстро вскочил с постели и выбежал на крыльцо, выходящее во двор. Мама схватила меня за руку и прижала к себе. Увидев, что я весь дрожу, она сказала: «Не бойся, сынок, это бесы заволокли луну, люди отгоняют их». И она показала мне на луну, закрытую каким-то черным шаром, только края ее ярко блестели. Мужчины стреляли в сторону луны, женщины стучали в медную посуду. А одна женщина из нашего двора, привязав к концу длинной палки конский хвост, махала им в воздухе и кричала истошным голосом: «Кыш, кыш, гяур нечистый!». Жуткий страх овладел мной. Я ничего не понимал.

— Мама, а зачем бесы прячут луну? — спросил я.

— Сынок, бесы и дьяволы — враги людей. Они хотят закрыть луну и солнце, чтобы люди остались во тьме.

Испуганный, я в ужасе думал: «Что же будет с нами, если проклятым бесам удастся скрыть от нас луну и солнце?»

Стрельба, звон меди, крики и вопли не прекращались. Вскоре одна сторона луны стала сверкать все ярче и шире.

— Ага, луна избавляется от чертей! — радостно крикнула мать.

Постепенно стало светлее, шум утих. Все радостные разошлись по домам. Но я в ту ночь до самого утра не смыкал глаз. Я думал о чертях — какие же они, должно быть, страшные и всеисильные, если поднимаются до самой луны и даже пытаются похитить ее!

На Востоке имеет хождение религиозное предание, будто существует вечно живой пророк по имени Хызр. Кое-где его называют Хызр Неби, а кое-где — Хыдыр Неби. Если случалась какая-нибудь беда, люди звали его на помощь: «Спаси нас, Хызр!» — молились они.

Особенно популярен Хыдыр Неби был в Тифлисе. На улице Субсаргис была даже церковь, носящая имя Хыдыра Неби. Раз в году, в четверг третьей недели февраля, бывал день этой церкви. В среду вечером грузинки, армянки и азербайджанки жарили пшеницу, мололи ее и мочили в сиропе. Молотая пшеница до утра высыхала. Это называлось ковут. Женщины приносили ковут в церковь Хыдыр Неби и раздавали нищим. Говорили, будто в ночь со среды на четверг Хыдыр Неби являлся в церковь и пробовал ковут тех, чьи приношения доброжелательно принимались им, а иногда Хыдыр Неби просто оставлял следы своих пальцев на приношениях.

Я хорошо помню: как-то моя мама тоже приготовила ковут в ночь Хыдыр Неби. Мне он не понравился. Мама положила его в огромной тарелке на окно. Проснувшись рано утром, я вспомнил об этом, быстро подошел к окну и увидел, что Хыдыр Неби не оставил отпечатков своих священных пальцев. Значит, приношение не принято. Недолго думая, я несколько раз приложил палец к ковуту. Какова же была радость матери, когда она увидела следы моих пальцев: «Хыдыр Неби осчастливил меня, Хыдыр Неби явился к нам!» — кричала она. Срочно была вызвана наша служанка, фанатичка Мешади Пери. Мама показывала ей следы пальцев и восхищенно говорила: «Ты видишь? Проклятие тому, кто не верит!». А Мешади Пери удивленно смотрела на эти отпечатки и тоже говорила: «Мехри-ханум, чтобы аллах каждое приношение твое принимал бы вот так! Ты погляди, сколько раз он коснулся твоего ковута».

В тот вечер мама вместе с Мешади Пери пошла в церковь Хыдыр Неби, чтобы раздать когут. Но все это делалось тайком от отца. В доме учителя царствовал дикий фанатизм.

Мне было семь или восемь лет, когда я заболел и потерял голос. По соседству с дядей жила старуха по имени Гюзал Досту, популярная в Тифлисе знахарка. Мать немедленно пригласила ее. Гюзал Досту явилась, осмотрела мое горло и сказала: «Это ангина. И к тому же двусторонняя. Дайте мне немного козьего сала, я сделаю массаж».

Мама принесла на блюде сало. Гюзал Досту намазала жиром свои пальцы и стала крепко сжимать железы по обеим сторонам горла. Я вырывался, хватал ее за руки. Несмотря на ее старания и уговоры, я не раскрыл рта. Наконец мама попросила меня:

— Сынок, она не будет делать больно, а просто посмотрит, чтобы узнать — есть там краснота или нет.

Я раскрыл рот. Гюзал Досту внимательно посмотрела и сказала:

— Обе стороны покраснели, ты не видишь, какие у него большие слюнные железы? Надо выдавить.

Гюзал Досту была рослой женщиной лет пятидесяти пяти. На голове у нее был черный калагай (большой шелковый платок) и белая чадра. Она была в темно-синем гладком платье. Ее длинные, пухлые пальцы потрескались от вьезшейся в кожу грязи, я со страхом смотрел на них и старался отодвинуться от нее подальше. «У нее пальцы грязные», — сказал я. Тогда мама взяла женщину за руку:

— Пойдем, Гюзал Досту, я полью тебе, вымой руки мылом.

Гюзал Досту вытянула руки и удивленно пробормотала:

— А что с моими руками? Они очень чистые.

Мать несколько раз повторила свою просьбу. Наконец Гюзал Досту вымыла руки, вернулась и, показав мне свои пальцы, внушительно сказала:

— Вот, чистенькие. Ладно уж, сынок, открой рот, надави на твое горлышко. Сегодня же поправишься.

Я решил и открыл рот. Одной рукой она схватила меня за шею и сунула мне в горло указательный палец правой руки. Я задыхался. Когда она надавила на glandу, страшная, нестерпимая боль чуть не свела меня с ума. Я крикнул и невольно со всей силой вцепился зубами в ее пальцы. Теперь мы оба дико кричали. Только почувствовав, что она уже завершила свое дело, я разжал челюсти. Она, словно из пасти дракона, вырвав свою руку, стонала, мама что-то сердито говорила мне и извинялась перед знахаркой. А та уже не посмела еще раз сунуть палец мне в рот, чтобы надавить на левую сторону.

— Мехри-баджи, на левой стороне ничего особенного нет, — сказала она, чтобы поскорее избавиться от меня.

Потом попросила у матери яйцо, смазала мне шею желтком, обвязала ее платком и велела почаще пить сок маринованного винограда. Мать исполнила ее указание. Я любил маринованный виноград и наслаждался им.

Но лечение Гюзал Досту только ухудшило мое состояние, и я еще долго мучился.

Прошло время, я выздоровел, но пухлые, грязные пальцы знахарки в черной шали не стерлись из моей памяти. Иногда я видел эти пальцы даже во сне.

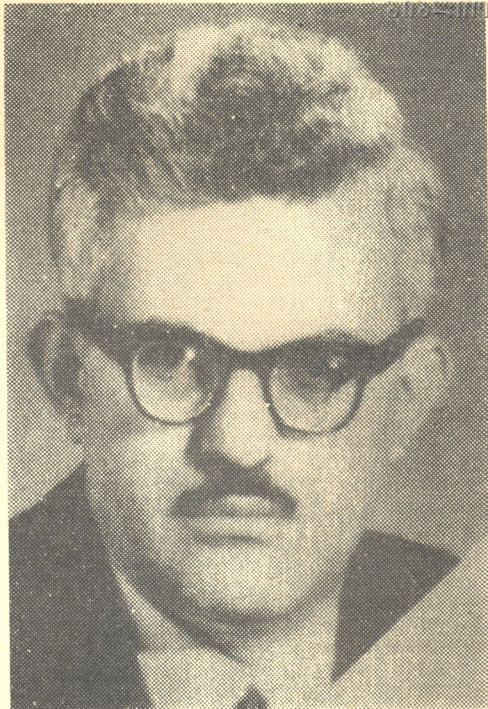
Продолжение следует

Автор этой статьи уже нет в живых. Он трагически погиб 28 августа 1971 года...

Филолог по образованию, он специализировался на английском языке и литературе, а всю свою сознательную жизнь посвятил служению классической филологии. Благодаря ему грузинский читатель получил возможность прочитать книги Микаэла Панаретоса, Амианеса Марцелинеса, Георгия Акополитеса, Никифора Константинопольского, Плиния, Тацита, Помпония Мела и других. Но он не изменял и своему старому увлечению: перевел «Ярмарку тифлисская» Теккерера, «Алису в стране чудес» Кэрролла, рассказы Голсуорси. Его личность гармонично соединяла в себе строгое спокойствие ученого и романтическую свободу писателя.

Он любил старую грузинскую культуру. Эта любовь и привела его в Институт рукописей имени К. Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР, где он работал до последних дней своей жизни. Он был влюблен в древнюю рукописную грузинскую книгу. Своей последней работой «Сокровищница грузинского народа» А. Гамкрелидзе хотел познакомить широкого читателя с богатым наследием грузинских рукописей и деятельностью института.

Эту статью мы и предлагаем вниманию нашего читателя.



Александр ГАМКРЕЛИДЗЕ

ХРАНИЛИЩЕ ДРЕВНЕЙШИХ РУКОПИСЕЙ

Грузинская письменность — одна из древнейших и самобытнейших в мире. Она прошла очень долгий и сложный путь развития. В науке пока еще нет полного единогласия в вопросе о времени и обстоятельствах зарождения грузинского алфавита — время его становления ученые относят к различным эпохам, от VII века до нашей эры и вплоть до V столетия нашего летоисчисления. Но с пятого века мы уже имеем совершенно достоверные свидетельства о грузинской письменности, чудом сохранившиеся от всеуничтожающего влияния времени.

Образцы грузинского письма дошли до нас как в виде эпиграфических памятников, то есть надписей на твердом материале, преимущественно на камне или металле, так и в виде письменных сочинений, исполненных на сравнитель-

но обычном для письма материале, в частности на пергамене (так называется специально обработанная для письма баранья или телячья кожа). В данном случае мы подразумеваем так называемые палимпсесты — особые листы пергамена, на которых соскоблен и смыт старый текст и поверх него впоследствии написан другой.

Дошедшие до нас памятники грузинской письменности характеризуются настолько высоким уровнем и совершенными формами начертания, что такие образцы, конечно, не могут быть продуктом лишь одного века и, безусловно, являются результатом длительного, постепенного развития.

Очень своеобразен и интересен путь развития грузинского письма. Мы имеем в основном три вида алфавита, которые, по мнению большинства ученых,

постепенно развивались тремя ступенями. Сначала была «мргловани» (округлая) или «асомтаврли» (заглавная) азбука; с IX века уже намечается «кутховани» (угловатое) или «нухури» (строчное) письмо; а с XI века внедряется «мхедрули» (светское), которое в виде современной грузинской азбуки утверждается в последующих веках, преимущественно в памятниках светской письменности. Что касается первых двух видов грузинского письма — «мргловани» (округлого), которое получило свое название от сравнительно округлого начертания букв, и «кутхури» (угловатого), то они до позднего времени — включительно до XVIII века — применялись для памятников духовной литературы. Поэтому эти виды письма получили наименование также письма «хуцури», то есть письма «хуцов» — священнослужителей, духовных лиц.

В старину как в других странах, так и в Грузии книгохранилища имелись при монастырях, большинство которых одновременно являлось большими культурными центрами, а также при царских дворах и в замках крупных феодалов.

Хорошо известно, что уже с древних времен очень богатые книгохранилища имелись при таких храмах и монастырских центрах, каковыми в самой Грузии являлись мцхетский Светицховели, тбилисский Сиони, монастыри Шино-Мгвиме, Алаверди, Гелати, Давид-Гареджи, Джручи, Шатберди, Хандзта, Ошки, Пархали, Бичвинта, Мокви, Сафара, и во многих других культурных очагах, а также в зарубежных грузинских культурных центрах на Афоне, на Черной горе (близ Антиохии), в Иерусалимском монастыре Святого Креста, на Синае, в Петридонской обители (в Болгарии) и в других.

Замечательными библиотеками обладали цари Грузии, особенно Давид Строитель, царица Тамар, супруга царя Ростом Мариам (XVII в.), Георгий XI, Вахтанг VI, Ираклий II и его ученические внуки — Давид, Иоанн, Теймураз, а также Давид Дадяни и другие; приписки свидетельствуют, что многие рукописи были переписаны специально для упомянутых лиц или же хранились в их библиотеках.

Институт рукописей имени К. С. Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР является прямым наследником именно подобных очагов древнегрузинской книжной культуры. В этой национальной сокровищнице собраны спасенные остатки книгохранилищ, издревле существовавших в Грузии.

Наши предки не щадили сил для собирания и хранения письменных памятников — в пределах возможного они с честью исполнили свой долг перед по-

томством. Это смело можно сказать об известных грузинских деятелях XIX века и в первую очередь об Илье Чавчавадзе и его соратниках. Тем не менее настоящее время мы не имеем и сотой доли тех сокровищ письменной культуры, которые наши предки с большим тщанием и трудом создавали на протяжении долгой исторической жизни грузинского народа. Порой ценой крупных затрат, с огромным усердием спасали тот или иной памятник грузинской письменности. Подобные факты нередко засвидетельствованы и на полях пожелтевшего от времени пергамента.

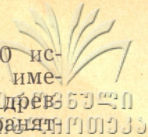
По непосредственной инициативе и под руководством Ильи Чавчавадзе и Дмитрия Кипiani была заложена основа одного из драгоценнейших фондов древнейших грузинских рукописей — коллекции Общества распространения грамотности среди грузин. Собрание и хранение этих рукописей стало одной из главнейших забот общества, основанного 15 мая 1879 года.

Все передовое грузинское общество проявило исключительное внимание к этому начинанию, и в сравнительно короткое время число пожертвованных и скупленных рукописных книг перевалило за две тысячи. Много рукописей пожертвовали Илья Чавчавадзе, Рафиэл Эристави, Давид Чубинашвили, Петре Умикашвили, А. Цагарели и многие другие. Немало труда вложили в создание этой коллекции выдающийся грузинский общественный деятель, неутомимый искатель и исследователь грузинской старины Евфимий Такайшвили и историк Давид Каричашвили.

Второе очень значительное учреждение по собиранию грузинских рукописей было организовано несколько позднее — в 1888 году в виде Грузинского Церковного музея, ставившего своей целью учет, собрание и хранение древних рукописей и памятников материальной культуры, разбросанных по древним церквям и монастырям Грузии. Первым председателем комитета, направлявшего работу этого музея, был известный грузинский историк Димитрий Бакрадзе. Впоследствии, после расширения музея, изучением хранящихся в нем памятников грузинской культуры руководили известные деятели — историки Феодор Жордания и Мосе Джанашвили. Последний продолжал свою деятельность и после установления Советской власти в Грузии.

В свое время горячо приветствовал это начинание Илья Чавчавадзе, посвятивший этому делу специальную статью.

Третье большое хранилище грузинских рукописей было организовано в 1907 году по инициативе и под руководством Евфимия Такайшвили — это был Музей историко-этнографического



общества Грузии. Впоследствии, при Советской власти, до 1929 года им руководил Иван Александрович Джавахишвили; и в этом хранилище было собрано более трех тысяч только рукописных книг и колоссальное количество сигеллионов, исторических документов и грамот. Здесь же проходила самоотверженная деятельность одного из основателей этого музея известного историка и филолога Сергея Горгадзе; с 1919 года до своей смерти (т. е. по 1929 год) он заведовал Историко-этнографическим музеем.

Судьба этих хранилищ была различной, но в конечном счете они были собраны под единый кров.

В 1929 году в Государственном музее Грузии был организован самостоятельный отдел рукописей. Здесь ряд лет в качестве консультантов, руководителей и сотрудников работали известные грузинские ученые И. Джавахишвили, Г. Церетели, Н. Бердзенишвили, А. Барамидзе, П. Ингорова, И. Абуладзе, К. Григолиа, Г. Джакобиа и другие.

В первые же месяцы установления Советской власти при Народном комиссариате просвещения была организована секция, которой поручили руководство охраной музеев и памятников старины. Памятники искусства и культуры впервые оказались на попечении государства.

В 1941 году Государственный музей Грузии со всеми своими фондами из системы Народного комиссариата просвещения Грузинской ССР был переведен в систему вновь созданной Академии наук Грузии.

Впоследствии в интересах дальнейшего собирания, хранения и изучения грузинских рукописей по инициативе покойного профессора Ильи Абуладзе в июне 1958 года на базе отдела рукописей Государственного музея Грузии имени академика С. Н. Джанашиа был создан Институт рукописей, которому в 1962 году было присвоено имя академика К. С. Кекелидзе.

В настоящее время в Институте рукописей три отдела: археографии, древнегрузинской филологии и грузинской дипломатики. В институте же помещаются кабинеты выдающихся грузинских ученых И. Джавахишвили, К. Кекелидзе и основателя института профессора Ильи Абуладзе, в которых сосредоточены их библиотеки и архивные материалы, переданные частично по завещанию, частично их наследниками.

В настоящее время институт располагает десятью тысячами грузинских рукописей V—XIX вв., в нем хранится более трех тысяч иноязычных рукописей, до тридцати семи тысяч исторических документов X—XIX вв. и более сорока тысяч архивных единиц.

Из общего числа рукописей 670 исполнены на пергамене, а в них имеются до 4 500 листов драгоценных древнейших палимпсестов, здесь же хранятся более полутораста греческих папирусов из коллекции известного грузинского эллиниста проф. Г. Ф. Церетели и так далее.

Таким образом, по древности, количеству и научно-художественной ценности письменных коллекций Институт рукописей Грузии является одним из богатейших и крупнейших хранилищ в Советском Союзе и во всем мире. Кстати, институтов такого рода в Советском Союзе пока лишь два — наш и «Матенадаран» (что значит — книгохранилище) в Армении, который в качестве института был основан несколько позднее, а именно: в 1959 году.

Проведенная в 1969 году в Тбилиси Всесоюзная конференция по вопросам археографии и изучения древних рукописей единодушно одобрила и весьма высоко оценила всю работу института и научную направленность.

Кроме Института рукописей небольшие ценные коллекции грузинских рукописей хранятся в Государственном историческом архиве Грузинской ССР, Государственной публичной библиотеке Грузии имени К. Маркса, Государственном литературном музее Грузии, историко-этнографических музеях Кутаиси, Мestia, Гори, Зугдиди, Гегечкори, Телави, Ахалцихе, Батуми и других городов. Коллекции грузинских рукописей имеются и за пределами республики, например — в Государственной публичной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве, в Ленинградском отделении Института востоковедения, в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в ереванском «Матенадаране» и т. д.

Грузинские рукописи хранятся также в книгохранилищах европейских стран: в Парижской национальной библиотеке, в Британском музее и библиотеке Бодли (Англия), в Ватикане, в Национальной библиотеке в Вене и в университетской библиотеке в Граце (Австрия), в Германии, Польше, Чехословакии, Америке и т. д.

Значительные древние рукописи находятся в местах древнейших грузинских культурных очагов: на Афонской горе — в Иверском монастыре (Греция), в Иерусалимской патриаршей библиотеке (Израиль), на Синайском полуострове в монастыре св. Екатерины и в других местах.

В настоящее время в основном почти полностью зафиксированы и взяты на учет все дошедшие до наших дней грузинские рукописи, хранящиеся как в самой Грузии и братских республиках Советского Союза, так и за рубежом. В

коллекциях Института рукописей АН Грузинской ССР богато представлены древнегрузинские как оригинальные, так и переведенные с других языков литературные и научные произведения почти по всем отраслям знаний, зачастую в списках уникального значения. Здесь представлены поэзия, художественная проза, история, право, философия, лексикология и грамматика, естествознание, медицина, география, путешествия и так далее. Грузинская средневековая литература особенно богата образцами духовной литературы, как это характерно вообще для всех христианских народов того периода. Здесь имеются рукописи библейских книг, произведений по экзегетике, полемике, догматике, аскетике, апокрифы, рукописи агиографической и литургической литературы...

Из произведений древнегрузинской литературы периода классики и Возрождения здесь хранятся более 130 полных и неполных списков поэмы Шота Руставели, в том числе почти все значительнейшие рукописи; более тридцати рукописей «Амирандареджаниани» — произведения Мосе Хонели, а также рукописи «Висрамиани» (повесть о Виси и Рамине), «Абдулмесиани» — Ионы Шавтели, «Ростомнани», «Русуданиани»; произведения царя Теймураза I, царя Арчила, царя Вахтанга VI, Сулхана-Саба Орбелиани, Давида Гурамишвили, Бесики (Габашвили) и других; среди них автографы С.-С. Орбелиани и Вахтанга VI, а также автограф Давида Гурамишвили — рукопись сборника его произведений «Давитиани», присланного им с Украины в Грузию через царевича Мириана; архивы и произведения великих грузинских поэтов, писателей и общественных деятелей — Николаза Бараташвили, Григола Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Александра Казбеги, Якова Гогеша и других, содержащее много автографических списков.

Коллекции института богаты историческими трудами и материалами, которые содержат обильные и интересные данные для изучения политической, социально-экономической и культурной истории преимущественно Грузии, а также ближайших ее соседей — Армении, Азербайджана, вообще Кавказа, и, кроме того, Византии, хазаров, России, арабов, монголов, персов, турок и других.

Кроме приписанных к древним рукописям колофонов (завещаний и послесловий), которые являются уникальными первоисточниками для историка, в фондах Института рукописей имеется большое количество первостепенных нарративных памятников в виде как отдельных трудов, так и сборников.

В этом разделе мы имеем одно из первых грузинских исторических сочи-

нений — «Обращение Картли» в двух древнейших списках — Шатбердском (X в.) и Челишском (XIV в.), в котором повествуется о крещении Грузии в IV веке. Этого значительного факта истории Грузии касается сочинение одного из крупнейших представителей литературы и науки древней Грузии, ученого филолога и мыслителя Ефрема Мцире — «Повествование о причине обращения грузин и о том, в каких книгах об этом упоминается». Ценно и другое его сочинение — «Поминание о Свимеоне Логофете и повесть о причинах перевода этих чтений».

В институте хранится до пятнадцати списков «Картлис цховреба» (Летописи Грузии) — сборников полной истории древней Грузии, среди которых по крайней мере четыре относятся к более раннему времени, чем история Грузии, отредактированная Вахтангом VI; среди них — интереснейший вариант, обнаруженный в одном из сел Верхней Имеретии.

Здесь же — исторические труды Парсадана Горгиджанидзе (XVII в.), самого Вахтанга VI и до десяти списков сочинений его просвещенного сына, знаменитого ученого и историка Вахушти — «Род и происхождение картвелов (грузин)», а также сочинения историков Сехниа Чхендзе, Папуна Орбелиани, Омана Херхеулидзе и других.

Еще в XI веке были переведены на грузинский язык популярные исторические труды — «История иудеев» Иосифа Флавия прославленным грузинским философом Иоанэ Петрици, и «Хронограф» Георгия Амартола выдающимся грузинским писателем Арсесом Икалтоели, которые дошли до нас в списках XIII века, а также многие другие.

Среди сочинений исторического характера должны быть отмечены замечательные памятники одной из значительнейших отраслей церковной литературы — агиографии, особенно оригинальной грузинской агиографии, образцы которой у нас имеются уже с пятого века, а именно: сочинение Якова Цуртавели «Мученичество Шушаники». Здесь же представлены сочинения Иоанна Сабанидзе, Георгия Мерчуле, Георгия Атонели, Георгия Мцире Атонели и других. Эти памятники, имеющие исключительное большое значение для изучения истории, языка, литературы и вообще культуры грузинского народа, в настоящее время уже изданы институтом в 4-х томах по всем спискам и, безусловно, являются значительным приобретением для науки, так как, кроме большой научно-исторической ценности, во многих случаях они обращают на себя внимание и как истинно первоклассные, высокохудожественные образцы грузинской средневековой литературы.

Среди исторических документов весьма многочисленны судебные указы и решения, дарственные грамоты, документы пожертвований, договоры, купчие, повеления, документы, отражающие крепостные отношения, клятвенные обязательства, списки приданных и разные другие документы, а также списки и книги переписи населения и так далее.

Особенно драгоценна написанная на свитке пергамена грамота деда Давида Строителя царя Баграта IV, данная в 1060 — 1065 годах Опизскому и Миджнадзорскому монастырям, которая является решением царского совета относительно земельной тягбы между упомянутыми монастырями. Кроме значительных исторических реалий, обращает на себя внимание его палеографическая ценность — документ является одним из ярких образцов перехода с письма «нухури» на «мхедрули».

Столь же ценна дарственная грамота того же царя Баграта IV Шио-Мгвимскому монастырю от 1058 года; дарственная грамота одного из визирей царицы Тамар, мандатуртухуцеса Чиабери тому же Шио-Мгвимскому монастырю, написанная в 1191 году, которую, как предполагают, подписывает сама царица Тамар. Кстати, упоминаемый среди подписавших этот документ высоких должностных лиц владетель Жинвани Шота, возможно, и есть великий поэт Шота Руставели; грамота, пожалованная в 1170 году тому же Шио-Мгвимскому монастырю отцом царицы Тамар царем Георгием III, утверждающая все ранее данные этому монастырю дарственные.

Необходимо отметить, что в институте, в частности, в его специально с этой целью организованном отделе грузинской дипломатики, ведется интенсивная работа по изучению и обнародованию этого богатого наследия. В настоящее время одним из значительнейших начинаний нашего института является подготовка к изданию «Полного собрания грузинских исторических документов», которое осуществляется в координации с Институтом истории, археологии и этнографии имени И. А. Джавахишвили, Государственным историческим архивом Грузии и другими научными учреждениями.

Гражданское, государственное и церковное права представлены несколькими десятками интересных рукописей. Особенно многочисленны списки известного судейника царя Вахтанга VI и его же «Дастурламали» — устава и распорядка Карглийского царства. Весьма ценны также рукописи судейников крупных феодалов Южной Грузии Бека и Агбуга (XIII—XIV вв.), «Уложения» царя Георгия Влостательного (XIV в.) и уникального памятника то-

го же времени — «Распорядка царского двора». К сожалению, список последнего дошел до нас в крайне фрагментарном виде, но и в таком состоянии он имеет исключительно большое значение для изучения ряда вопросов государственного строя средневековой феодальной Грузии.

Среди памятников церковного права особого внимания заслуживает «Малый номоканон» Евфимия Атонели (Афонского) и «Великий номоканон» (переведенный на грузинский язык в конце XI века Арсеном Икалтоели) со своими дополнениями, в том числе постановлением известного Руис-Урбнисского церковного собора, состоявшегося при царе Давиде Строителе. Над этим памятником работала группа сотрудников, и он готовится к печати.

Имеется несколько десятков лечебных книг и карабадинов, среди которых выделяется «Усцоро карабадини» («Несравненный карабадин» XIV—XV вв.), карабадин «Брдзентмтавара» (Главы мудрецов) и «мгурнала» (лекаря) Зазы Панаскертели-Цицишвили (XV в.), «Цигни саакимой» («Лечебная книга» — сама рукопись XV—XVI вв., но составлена в начале XIII века), «Ядигар Дауди» (XVI в.) и другие.

Большой интерес вызывает уникальные астрономический трактат с прекрасными рисунками знаков зодиака, переписанный в 1188 году; список 1233 года астрономическо-календарного трактата Абусерисдзе Тбели, а также известный каталог звезд Улугбека в переводе Вахтанга VI.

Из философских сочинений в институте хранятся: «Главы философские» или «Диалектика» Иоанна Дамаскина в переводе Арсена Икалтоели (XI—XII вв.); труды Дионисия Ареопагита и «Источник знания» (рукопись XII века) Иоанна Дамаскина в переводе Ефрема Мцире; также «О пяти главах философа Порфирия» и «О десяти категориях Аристотеля» Аммония сына Эрмия (список XIII века). Следует особо отметить наличие десяти списков сочинения Прокла Диадоха «Элементы теологии» (списки XII—XIII—XVIII вв.) с оригинальными комментариями и толкованиями известного грузинского философа и мыслителя Иоанэ Петрици; тут же следует упомянуть о переводе значительного труда Немесия Эмесского «О естестве человека».

Из географических трудов ценным сокровищем является географическая часть замечательного исторического труда Вахушти Багратиони и его же атлас карт Грузии, сочинения в жанре путешествий — «Путешествие в Европу» Сулхана-Саба Орбелиани, путешествия Тимотэ Габашвили, Ионы Гедеванишвили и Георгия Авалишвили в Турцию, Пале-

«стину Египет, на Афон и в другие места с целью, в основном, обзора грузинских древностей и зарубежных грузинских культурных центров.

Богаты фонды института также рукописями трудов лексикологического и грамматического характера. Здесь хранится в списке XII века один из древнейших лексикологических образцов в виде словаря Кирилла Александрийского, имеются несколько десятков (более 50) рукописей сокращенных и полных редакций грузинского словаря Сулхана-Саба Орбелиани, последнее научное издание которого по десяти спискам (признанным автографически) осуществил в 1965—1966 годах профессор Илья Абуладзе; лексикологические рукописи также Иоанна и Теймураза Багратиони, Ионы Хелашвили, Давида Чубинашвили и других. Здесь же находятся рукописи древних грамматик Антония I, Зураба Шаншовани, Гайюза, Давида и Иоанна Багратиони, Нико Дадяни и других.

Отдельно должны быть упомянуты автографические списки грандиозного энциклопедического труда Иоанна Багратиони «Калмасоба» («Хождение по сбору»), в котором в форме диалога с большим остроумием и глубоким знанием разъяснены вопросы почти всех отраслей древнегрузинской науки и литературы.

Церковная литература, как было сказано, в коллекциях института представлена с исчерпывающей полнотой и обилием и притом в виде очень древних рукописей. Наши предки не оставили непереузданным почти ни одно значительное произведение христианской литературы, и зачастую некоторые памятники переведены два, три, а иногда и большее количество раз, в разное время и с разных языков. Произведения переводились главным образом с языка тех народов, с которыми поддерживались литературные и культурные связи. Особенно много переведено с греческого, а также с армянского, арабского, сирийского, позднее и со славянского.

Наибольшее внимание уделялось, как и следовало ожидать, переводам книг Ветхого и Нового заветов; было переведено большое количество как канонических, так и неканонических, то есть апокрифических, книг. В институте хранятся до 15 списков Ветхого завета, а списков книг Нового завета еще больше. Из отдельных книг Ветхого завета наибольшее число приходится на списки псалтырей — разные версии псалтырей X—XVIII веков сохранились в нескольких десятках списков, причем в некоторых случаях в виде роскошно иллюстрированных экземпляров.

Из книг Нового завета, конечно, больше всего рукописных четвероголавов, составляющих многочисленную коллекцию

блестяще изданных древних литературных памятников. Среди них особенно ценны — Джручский первый четвероголав (936 г.), Алавердский (XI в.), Гелатский, Ванский, Джручский второй, Мовский и другие, которые по своим великолепным миниатюрам и высокохудожественному оформлению представляют собой памятники всемирного значения.

Критическое издание грузинских версий одного из значительнейших памятников мировой литературы — Ветхого завета давно уже считается одной из неотложных задач грузинской филологии. Поэтому группа научных сотрудников института под руководством профессора И. В. Абуладзе на протяжении ряда лет работала над изучением текстов и подготовкой их к изданию.

В институте хранятся сотни грузинских переводов произведений таких выдающихся представителей ранневизантийской литературы, как Иоанн Златоуст, Северьян Гавальский, Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Нисский, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Ефрем Сирин и другие. Имеются также ценные списки произведений византийской метафрастической литературы; сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита, которые, по мнению отдельных исследователей, были написаны грузинским деятелем Петром Ивером; труды Петра Диадоха и других. Над переводами и комментариями к этим произведениям работали такие выдающиеся представители древнегрузинской литературы, как Евфимий и Георгий Атонели, Ефрем Мцире, Арсен Икалтоели, Иоанн Петрици и их многие просвещенные сподвижники.

Интерес к древнегрузинским переводам усиливается и в связи с тем, что оригиналы многих из переведенных произведений или утрачены, или же дошли до нас в более поздних измененных редакциях. Приведем хотя бы несколько примеров. В грузинских древних «Многоглавах» дошло до нас около семидесяти трудов известного византийского писателя Иоанна Златоуста, и едва ли треть из них найдена в оригинале. Лишь в грузинских рукописях сохранились переводы экзегетических произведений писателя III века Ипполита Римского, в частности его «Толкование Песни песни», оригиналы которых давно считались утраченными. Также лишь в грузинском переводе сохранилось произведение византийского писателя IX века Митрофана Смирнского «Толкование Екклесиаста», о котором ничего не было известно в научной литературе; уникальны также материалы со сведениями для освещения литературной деятельности византийского писателя Свиеона Логофета и Метафраста и продолжателя его дела Иоанна Ксифилина и многие другие.

Особенно большое значение имеют рукописи X—XII веков, содержащие образцы духовной поэзии с нотными знаками, в которых одновременно с переводами представлено много совершенных произведений оригинального творчества древнегрузинских гимнографов. В этом смысле нельзя не выделить известный сборник, составленный Микаэлом Модрекили в X веке. Этот сборник имеет исключительное значение для изучения истории древнегрузинской гимнографии и музыки и одновременно является образцом, свидетельствующим о высокой культуре древнегрузинской рукописной книги. В Институте рукописей интенсивно изучаются вопросы древнегрузинской гимнографии.

Хранится здесь и много ценных иноязычных рукописей.

Из греческих рукописей выделяется несколько рукописей на пергамене. Самым значительным является так называемый Коридетский четвероглав, переписанный в IX веке, заглавными буквами. Он представляет собой один из интересных вариантов и своими различиями давно известен специалистам всего мира. На полях его листов сохранилось много приписок на грузинском и греческом языках; относящихся к X—XV векам, имеющих большое историческое значение для освещения ряда вопросов социальной, экономической и политической истории Южной Грузии. Очень интересен четвероглав, также относящийся к IX веку, и сборник гомилий Василия Великого, пользующийся вниманием специалистов.

В рукописях Восточного фонда богато представлены проза, поэзия, история, география, философия, астрономия, медицина, лексикология, грамматика, военное дело, религия и другое.

В персидской коллекции имеются интересные ранние списки произведений таких выдающихся персидских поэтов, как Фирдоуси, Хакани, Низами Ганджеви, Саади, Джалаледдин Руми, Хафиз, Джами и другие; произведения историков Искандера Мунши, Мирза Мохамед Тагер Вахиди, Мехди Хана, Васафи; известный астрономический трактат Улугбека с таблицами; также много исторических документов, выданных шахами Ирана главным образом грузинским феодалам и должностным лицам, начиная с Шах-Абасса Великого.

Из турецких рукописей исключительный интерес представляет Большой диван Гурджистанского вилайета, составленный в 1592 году, текст которого в 4-х томах, с исследованием и комментариями опубликовал академик С. Джинья.

Весьма интересен по своей древности «Муншаати» (образцы переписки) Алишера Навои и его же «Ферхад и Ши-

рин», переписанный вскоре после смерти поэта — в первой четверти XVI века. Также заслуживает большого внимания «Диван» Фузули Багдади (переписанный в 1577 г.), списки турецкого перевода «Бустана» Саади (XVII века) и другие.

Самой многочисленной в Восточном фонде является арабская коллекция, в которой также представлены многие отрасли. Особенно интересен список XIV века медицинского трактата Авиценны (Ибн Сина), а также несколько образцов Корана с прекрасными росписями.

В институте хранится уникальный список X века Пятикнижия Моисея из Ветхого завета на еврейском языке, так называемая Ланлашская библия, представляющая большой интерес для библиологов и исследователей еврейского языка, научное издание которой готовит сейчас академик Г. В. Церетели.

Более трехсот рукописей — в армянской коллекции, полное описание которой завершается. Здесь находятся списки произведений средневековых историков Стефаноса Таронского, Самоела Авийского, сборника армянского права Мхитара Гоша; фрагменты древней (IX—X вв.) Библии, до десяти четвероглавов XIV—XVI веков, медицинские, грамматические, лексикологические труды и многие сочинения церковной литературы.

Довольно многочисленна и коллекция русских рукописей, но в ней преобладают сравнительно поздние — XIX века, хотя имеются и памятники XVII—XVIII веков. Здесь много относящихся к XVIII и XIX векам копий переводов на русский язык переписки грузинских царей и членов их дома, и среди них такие, оригиналы которых утрачены. Много переводов и других грузинских исторических документов.

Следует упомянуть о наличии автографа письма Льва Толстого к грузинскому деятелю Илье Наквидзе от 1 февраля 1905 года, а также о неполной рукописи известной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Прежде чем перейти к обзору изучения и издания древних грузинских рукописей, необходимо отметить, что это дело, само по себе почти полностью совпадающее с изучением древнегрузинской литературы, за годы Советской власти составило громадное количество работ как по публикации текстов, так и исследований. Чтобы дать представление об объеме научной работы, проведенной в этом направлении, достаточно сказать, что специальная книга — «Библиография древней грузинской литературы», охватывающая научную продукцию только за 1921—1965 годы, содержит более 4 600 единиц. Поэтому совершенно ясно, что данный обзор будет, конечно, весьма кратким и коснется лишь главных вопро-

сов и фактов, преимущественно связанных с работой института в этой области.

Разумеется, одной из главных задач института является составление и издание полного описания рукописей на уровне современных требований науки. И в этом направлении уже сделано довольно много.

Еще до революции было издано Описание рукописей Церковного музея в 3-х томах. Первые два тома издал Жордания в 1901—1902 годах, а третий — М. Джанашивили в 1908 году. Всего было описано 1 040 рукописей.

Каталог книгохранилища Общества распространения грамотности среди грузин был издан Давидом Каричашивили в 1904 году в сравнительно кратком виде. Расширенное описание, но избранных, главным образом имеющих большую историко-литературную ценность рукописей этого же фонда издал в двух томах в 1902—1912 годах Евфимий Такайшвили.

Указанные описания в свое время сослужили большую службу научным кругам, работавшим по грузинской филологии, но впоследствии возникла необходимость составления полного научного описания всех фондов. Это дело было начато в 1939 году под руководством академика И. А. Джавахишвили. Им же была составлена инструкция для описания, которая с незначительными изменениями и уточнениями и в настоящее время является примерным руководством для работников этой отрасли.

Из серии описаний, разработанных по этой программе, первым был опубликован I том описания рукописей бывшего Музея историко-этнографического общества Грузии (коллекция — Н), который был посвящен коллективом Государственного музея Грузии в 1946 году 25-летию установления Советской власти в Грузии. С первого же тома вся эта работа проводилась под наблюдением и руководством бывшего директора Института рукописей, известного филолога, профессора И. В. Абуладзе. Над составлением описания на протяжении ряда лет не прекладая рук работала и работает большая группа опытных научных работников — Х. Шарашидзе, Л. Кутателадзе, Е. Метревели, Н. Касрадзе, Л. Мепаришвили, М. Кавтария, Т. Енукидзе, Т. Брегадзе, М. Шанидзе и другие. В редакционной работе в разное время принимали участие академики С. Джанашиа, К. Кекелидзе, А. Барамидзе, а также Х. Шарашидзе. Последние тома выходят под редакцией профессора Е. Метревели.

Сейчас уже изданы 17 больших томов описаний грузинских рукописей объемом до 600 печатных листов.

Кроме упомянутых основных фондов, опубликованы составленные почти по

этому же образцу описания и других хранилищ грузинских рукописей. В частности, издано 2 тома описания древних рукописей Государственного исторического архива, рукописей Кутаисского музея также в 2-х томах, рукописей Государственной публичной библиотеки Грузии имени К. Маркса и так далее.

Начата также работа по систематическому изучению и описанию фондов рукописей периферийных краеведческих музеев.

Опубликованы имеющие большое значение описания грузинских рукописей: Синяя (1947 г.), составленные Н. Я. Марром и И. А. Джавахишвили в бытность их там в 1902 году, и составленное также Н. Я. Марром описание грузинских рукописей Иерусалимской патриаршей библиотеки.

Частично уже описаны иноязычные рукописи.

Готово описание армянских рукописей. Опубликованы краткое, но все же нужное описание греческих рукописей, солидная часть персидских, турецких и арабских рукописей. Опубликована (1969 г.) 1-я часть описания одной из интереснейших коллекций Восточного фонда, хранящихся в нашем институте.

Отдельно готовится описание рукописей, снабженных имеющими огромную художественную ценность миниатюрами. В фондах имеется более 130 таких рукописей только X—XIV веков (не считая более позднего времени, число которых значительно больше).

В связи с изучением рукописей зарубежных древнегрузинских культурных центров достойно особого упоминания то, что благодаря настойчивой работе и стараниям бывшего директора Центральной научной библиотеки Академии наук Грузинской ССР В. Узнадзе и содействию наших выдающихся ученых филологов сделано большое и доброе дело — по их инициативе из Америки, из Библиотеки конгресса в Вашингтоне в 1956 году были получены копии микрофильмов большей частью древнейших, переписанных до XV столетия грузинских рукописей.

Благодаря этому приобретению сильно подвинулось дело изучения древнегрузинского рукописного наследия, а также перспективы разысканий по ряду вопросов грузинской литературы и языка. Именно здесь был обнаружен новый пространственный вариант грузинского «Балавариани» («Повесть о Варлааме и Иоасафе»), который был опубликован почти немедленно (в 1957 г.) профессором И. В. Абуладзе, а его перевод был издан сначала на русском языке, а недавно, из-за его чрезвычайной важности для византийской и мировой литературы, на английском языке в переводе профессора Д. Ланга.

Эти же микрофильмы дали возможность академику А. Г. Шанидзе издать текст знаменитого сирийского «Многоглава», а профессору И. В. Абуладзе — произведение писателя VII века Иоанна Мосха «Лимонарь».

Институт уже обладает богатой фото- и микротекой, в которой собраны фотокопии и микрофильмы уникальных рукописей самого института, а также многих значительных древнегрузинских рукописей, находящихся вне стен института.

И теперь усилия направлены на собирание фотокопий и микрофильмов грузинских рукописей, хранящихся за рубежом и в разных библиотеках Советского Союза.

На протяжении последних лет получено 4 микрофильма рукописей Иверского монастыря, микрофильмы с четырех рукописей Венской национальной библиотеки и фотокопия исключительно ценной рукописи — палимпсеста X века из библиотеки Принстонского университета и микрофильмы 5 рукописей из Оксфорда, из библиотеки Бодли. Получены также новые прекрасные фотокопии трех рукописей из Ленинградского отделения Института востоковедения, в том числе из известного списка «Летописи Грузии («Картлис цховреба») царевича Теймураза.

В получении фото- и микрофильмов рукописей, хранящихся за рубежом, большую помощь могут оказать наши соотечественники, направляющиеся в научные командировки или даже в туристские поездки. Как известно, большая часть древнейших грузинских рукописей, попавших в европейские и американские книгохранилища и музеи, вывезена из Афона, Иерусалима, Синаи и других древних грузинских очагов культуры. Этот процесс продолжается и в настоящее время. Так, пропавшая 80 лет назад из Иерусалимской грузинской коллекции рукопись недавно обнаружилась у одного нью-йоркского букиниста.

Огромное научное значение имеют палимпсесты, содержащие древнейшие письменные образцы грузинского языка, большинство которых хранится в Институте рукописей имени К. С. Кекелидзе Академии наук Грузинской ССР. Некоторое число грузинских палимпсестов, большей частью в виде фрагментов, попало и в зарубежные хранилища, в частности в Англию (Кембриджское и Оксфордское книгохранилища), в Австрию (Национальная библиотека в Вене), а также в Ленинград и другие места.

Очень малую часть палимпсестов расшифровали И. А. Джавахишвили, А. Г. Шанидзе, И. В. Абуладзе, американский грузиновед Роберт Блейк и английский профессор Д. Н. Бердзол.

Для изучения истории грузинской письменности, установления ступеней ее развития и, следовательно, для крайне необходимого дела научной датировки письменных памятников огромное значение имело открытие т. н. «ханметных» и «хаеметных» текстов, связанное с именами известных грузинских ученых И. А. Джавахишвили и А. Г. Шанидзе.

На основе богатой коллекции рукописей нашего института развернулась интенсивная работа по изданию памятников грузинской литературы.

Одной из основных задач института является дальнейшее филологическое и палеографическое изучение этого богатого рукописного наследия и научное издание значительных текстов. Опубликовано довольно много произведений как в сборниках, так и в виде отдельных книг. Конечно, особое внимание уделялось малоисследованным вопросам и текстам древней литературы, имеющим большое научное значение.

За годы существования Института рукописей в виде отдельного научно-исследовательского учреждения — с 1958 года по сей день — издано 5 книг «Вестника» института (1959 — 1963) и несколько тематических сборников, одна книга «Филологических разысканий» (1964), две книги «Палеографических разысканий» (1965, 1969), сборник историко-филологических трудов «Шота Руставели» (1966), посвященный 800-летию со дня рождения великого поэта, «Четыре памятника древней грузинской литературы по рукописям X—XII веков» (1965), «Несколько грузинских исторических документов XIV — XVIII веков» (1964) и так далее. В этих сборниках представлено более 100 трудов. Это результат исследования рукописей как оригинальных, так и переведенных памятников, иногда с приложением критически установленных кратких текстов.

Особо следует отметить четырехтомное издание «Памятники древнегрузинской агиографической литературы» (1964—1971), которое является полным собранием оригинальных произведений этого жанра, установленных по всем доступным спискам. Над этим четырехтомником на протяжении ряда лет под руководством профессора И. В. Абуладзе работала группа научных сотрудников института — Л. Атанелишвили, Н. Гогуадзе, Л. Каджая, Ц. Курциндзе, Ц. Чанкиева, Ц. Джгамая, М. Долакидзе, Е. Габидзашвили и Г. Кикнадзе.

Из отдельных изданий вызывают большой интерес следующие публикации профессора Ильи Абуладзе — «Грузинские редакции повести «Варлаам и Иоасаф», «Лимонарь» Иоанна Мосха (1960), «Древнейшие редакции «Шестиднева» Василия Кесарийского и толкования «О строении человека» Григо-

рия Нисского» по рукописям X—XIII вв. (1964), словарь Сулхана-Саба Орбелиани «Лексикон грузинский» по автографическим спискам в двух томах (1965—1966); также исследование профессора Е. Метрели — «Материалы к истории грузинской колонии в Иерусалиме» (1962) и подготовленное ею же первое издание произведения известного грузинского дипломата, писателя и общественного деятеля Георгия Авалишвили «Путешествие от Тбилиси до Иерусалима», в котором описаны впечатления этого для своего времени высокообразованного и наблюдательного человека во время его путешествия по Турции, Египту и Палестине.

Результатом скрупулезного изучения всех известных (до сорока) рукописей является подготовленное Л. Атанелишвили издание «Амирандареджаниани».

Из библийских книг были изданы доктором М. А. Шанидзе в серии «Памятники древнегрузинского языка» (№ 11) — «Древнегрузинские редакции псалтырей по рукописям X—XIII веков». (1960). Более десяти древнейших и интересных апокрифических, или неканонических, сочинений исследовала и опубликовала кандидат филологических наук Ц. И. Курцикидзе в книгах «Грузинские версии апокрифов об апостолах» (1959) и «Грузинские версии апокрифов Ветхого завета по рукописям X—XVIII вв.» (кн. I, 1970) и другие.

Из работ, посвященных вопросам изучения древнегрузинской литературы позднего периода, следует отметить исследование старших научных сотрудников М. Н. Кавтариа «Литературная школа Давид-Гареджи» (1965), Л. И. Кутателадзе «Лексикографические работы Давида и Иоанна Багратиони» (1967), Е. А. Абрамишвили «Архивные материалы об общественно-культурной жизни Грузии 70-х годов XIX в.» (1965).

Опубликованы материалы, имеющие большое значение для изучения истории Грузии и соседних с нею стран, в большинстве случаев с соответствующими исследованиями и комментариями: «Исторические документы Имеретинского царства и Гурийского и Одишского княжеств (1466—1770 гг.)», кн. I, 1959 (издал Ш. Бурджанадзе), «Материалы по истории Южной Грузии XV—XVI вв.», 1961 (Х. Шарашидзе), «Жизнь грузин» историка Нико Дадиаши, 1962 (Ш. Бурджанадзе), «Материалы по исторической географии и топонимике Грузии X—XVIII веков», кн. I, 1964 (З. Алексидзе и Ш. Бурджанадзе) и другие.

Из трудов востоковедческой группы института следует отметить публикации Р. В. Гварамии «Ал-Бустани по Синай-

ской рукописи X века», арабский текст с грузинским переводом и исследованием (1965), М. Г. Мамацашвили «Персидские источники поэмы Шеймураза Первого «Леилмеджунниани» (1967) и Ц. А. Абуладзе «Тюркские переводы словника словаря Сулхана-Саба Орбелиани» (1968).

Большой интерес вызвал подготовленный в институте альбом «Грузинские рукописи» (1970), содержащий цветные фото прекрасных миниатюр преимущественно из грузинских рукописей X — XVII веков. Альбом сопровождается кратким пояснительным текстом на грузинском, русском и английском языках, автором которого является кандидат искусствоведения Е. М. Мачавариани. Кстати, на книжной выставке, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, это издание заслужило первую премию имени первоиздателя Федорова.

Можно отметить еще опубликование первой книги тематического сборника «Мравалтави», содержащего до 30 историко-филологических трудов научных сотрудников института. Печатается также многолетний труд профессора И. В. Абуладзе «Словарь древнегрузинского языка»...

Публикация произведений по уникальным древним спискам имеет большое значение не только для истории грузинской литературы и культуры, но и для уточнения многих неясных вопросов византийской, армянской и вообще восточнохристианской литературы, поскольку оригиналы многих из них до сих пор считаются утраченными.

Наша обязанность собрать в надежные хранилища все грузинские рукописные фонды и обеспечить надлежащий уход за ними.

Очень важно также изготовить микрофильмы всех ценных фондов института, чтобы сохранить оригиналы многовековых рукописей, добиться применения современных фототехнических средств с целью расшифровки древнейших палимпсестов, что сулит интереснейшие открытия.

Предполагается осуществить фототипическое издание уникальных рукописей в виде специальной серии, а также опубликование на высоком полиграфическом уровне замечательных образцов илюминированных рукописей как для чисто научных целей, так и с учетом интересов широких общественных кругов.

Замечательные письменные памятники требуют особого внимания и хранения, кропотливого и всестороннего изучения.

О ГОРЬКОМ — ДРУГЕ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Горький, как и А. Пушкин, принадлежит к тем великим и вечно движущимся явлениям, о которых каждое поколение пытается сказать свое слово. Будучи сугубо национальным явлением, М. Горький стал вместе с тем достоянием всего человечества. Этим и обусловлено появление многочисленных исследований о великом пролетарском писателе, книг самых различных литературоведческих жанров во всем Советском Союзе и, в частности, в Грузии.

Начало грузинскому горьковедению положено давно — еще с момента выхода М. Горького на писательскую арену. Нашими видными исследователями — В. Имедадзе, Л. Асатиани, А. Николадзе, В. Шадури, Б. Пирадовым, Г. Цицишвили, Г. Гвенетадзе, А. Немсадзе и другими — уже многое сделано по выявлению и систематизации фактов, высказан целый ряд важных положений, которые в настоящее время приняты в советском горьковедении.

Книга Г. Гвенетадзе «М. Горький — друг грузинской литературы» (издательство «Мерани», Тбилиси, 1972) свидетельствует о новом, углубленном подходе к исследованию цикла проблем «М. Горький и Грузия». Она является результатом многолетних разысканий, в основе которых — многочисленные архивные, газетные, журнальные и рукописные материалы, зачастую малоизвестные, забытые и вовсе неизвестные сведения.

В книге прослеживается интерес М. Горького к различным проявлениям культуры грузинского народа (песням, танцам, древнему зодчеству и т. д.). Нам еще не приходилось встречаться в других работах с таким обильным потоком сведений на эту тему.

Особое внимание в нем уделяется освещению деятельности М. Горького по организации переводов произведений грузинских писателей на русский язык, популяризации грузинской литературы. Добытые Г. Гвенетадзе архивные и другие документы делают абсолютно бесспорным факт, что М. Горький до конца жизни сохранил интерес к древней культуре Грузии.

Как мы уже отметили, одним из главных достоинств книги является прежде всего обилие новых, неизвестных, забытых и малоизвестных материалов, кото-

рые выявлены, систематизированы и пущены в научный обиход. Некоторые из приводимых автором данных были известны и раньше, цитаты и отдельные положения из них кочевали из работы в работу. Здесь же они прочитаны заново, приведены в полном, «неискрытом» виде.

Впервые мы во всех подробностях узнаем о судьбе «грузинских сборников», которые были задуманы с целью познакомить русского читателя с образцами грузинской литературы. Г. Гвенетадзе последовательно разбирает материалы всех этапов организационной работы по отбору, переводу, редактированию и комплектованию сборников лучших произведений грузинских писателей как до революции, так и после 1921 года.

М. Горький многое сделал для популяризации литератур многих народов, в том числе и грузинской литературы; в этом отношении все его устремления тесно переплетались с интересами грузинской общественности.

Широкое издание сборников произведений народов, населявших Российскую империю, было одним из радикальных начинаний великого пролетарского писателя.

Забываясь о выпуске сборников произведений писателей различных национальностей, М. Горький делал практические шаги по духовному сближению народов еще до революции. К сожалению, сборники не вышли, но все, что с ними связано (отбор произведений, круг переводчиков и т. п.), представляет большой научный интерес.

Хотя национальный вопрос в творчестве М. Горького и не исследовался в книге специально, но отдельные замечания Г. Гвенетадзе по поводу отдельных фактов и высказываний великого писателя дают представление о его позиции в этом вопросе в сложнейшую для развития России пору. В 1913 году разгуду черносотенцев М. Горький противопоставил идею духовного сближения народов; он ратовал за права каждой нации на самоопределение. Очень интересным документом в этом отношении является нашумевшее в свое время письмо М. Горького к Н. Канделаки.

Г. Гвенетадзе с большой осторожностью подходит к фактам, датам, данным, стремится как бы заново перепро-

верить материалы о грузинских связях М. Горького. И в результате многие данные обрастают дополнительными и сведениями, уточняются, как, например, сообщения, сделанные Балухатым, Н. Пиксановым А. Николадзе и другими. Некоторые уточненные данные стали уже достоянием нового, последнего издания собрания сочинений М. Горького, выходящего в свет в настоящее время.

В этой книге мы знакомимся с перепишой известной грузинской писательницы Д. К. Малиашвили и С. С. Кондурушкина. В ней раскрыт круг вопросов, имеющих прямое отношение к М. Горькому и отдельным вопросам грузинской литературы. Письма свидетельствуют о многих контактах между грузинскими и русскими писателями.

Д. Малиашвили в меру сил продолжала традиции М. Горького по изданию произведений грузинских авторов на русском языке. Сама она писала на русском языке рассказы и очерки, отражающие жизнь грузинского народа. Эти произведения получили определенное признание в то время.

В книге прослеживается история знакомства М. Горького с произведениями грузинской литературы (Сулхан-Саба), мы узнаем также интересный факт о том, что в «Альманахе мировой литературы» (1918), который редактировал М. Горький, наряду с другими великими произведениями был помещен и отрывок из поэмы Ш. Руставели в переводе К. Вальмонта. Кстати, как устанавливает автор, в руставелевской библиографии эта публикация не указывается.

Грузинским ученым исследованы контакты М. Горького с представителями грузинской литературы и после революции. Установлено, что он прилагал все усилия для организации переводов произведений грузинских советских писателей на русский язык, участвовал в подготовке и издании «Антологии грузинской поэзии», выдвигал главные принципы, которые должны быть положены в основу этого издания (например интернационализм). И хотя М. Горький не дожид до выхода в свет «Антологии», в осуществление этого издания им вложена огромная доля энергии. Кроме того, его участием отмечены многие издания произведений грузинских писателей на

русском языке, выходявшие с 1933 по 1936 годы.

М. Горький был очень внимателен к развитию национальных языков. Г. Гвенетадзе приводит данные, свидетельствующие о том, как усиленно подчеркивал писатель необходимость для переводчиков и для всех, кто работает в области культуры, знания как русского языка, так и языков народов, населяющих СССР, в том числе и грузинского. Еще в 1896 году М. Горький писал: «Кавказ представляет собою полную картину вавилонского смещения языков, и для того, чтобы представители правосудия могли стоять в непосредственной близости с народом, они должны говорить по-армянски, по-грузински, по-татарски, должны знать все наречия мингрельцев, сванов, пшавов, хевсур, гурийцев, черкесов и осетин, тушинцев и т. д.». Какое удивительное знание прежде всего грузинских народностей и диалектов!

Но отдельные моменты книги вызывают возражение. Стоило ли выдвигать на первый план и начинать книгу с выяснения отношения М. Горького к различным проявлениям грузинской культуры (песни, танцы и т. д.), если именно эти вопросы не были исчерпывающе исследованы?

Г. Гвенетадзе приводит массу фактов, изданий, дат, событий, которые дают возможность для более широкого комментария, обобщений, осмысления. Создается иногда впечатление недосказанности, масса фактов, приведенных в книге, осталась как бы «нерастворимой» в ней.

В книге приводятся материалы о связях М. Горького с Грузией до 1935 года. Но почему бы не продолжить исследование горьковских традиций в сегодняшней Грузии? Ведь и сегодня в массовом издании произведений наших писателей, переведенных на русский язык, со всей определенностью сказывается влияние творческой инициативы М. Горького.

Наконец, нам хотелось бы порекомендовать книгу Г. Гвенетадзе широкому читателю, но тираж ее, к сожалению, настолько невелик, что она вряд ли перешагнет границы нашей республики.

Дмитрий ТУХАРЕЛИ

Сдано в производство 17 мая 1973 г. Подписано к печати 27 июня 1973 г.
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70 × 108¹/₈.

Заказ 1726

Тираж 4000

УЭ 00017



Цена 40 коп.

И Н Д Е К С
76117

ბეჭ. კა ტყ-ის გამოცემა
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ